

ОГОНЁК
№ 3 ЯНВАРЬ 1965
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

43-й год издания

№ 3 (1960)

17 ЯНВАРЯ 1965

Атом — сельскому хозяйству.
Фото Н. АКИМОВА.
Фотовыставка «ТАСС-64».

Эугениуш БАНАЩИК,
польский писатель

Я уже не служу в авиации, однако часто пользуюсь случаем, чтобы подняться над нашей Варшавой.

Город красивее всего утром. Он тогда как бы раззолочен лучами солнца. Иногда мне кажется, что он тоже оторвался от земли — настолько он светел и легок. Все залито солнцем.

Жизнь Варшавы ощущается даже отсюда, с высоты. Окаймленные деревьями улицы полны движения. Голубеет Висла. Над предместьями поднимаются дымки заводов и электростанций.

Я живу в Варшаве двадцать лет. Каждый день любуюсь ее красотою, но город совсем по-особому поражает меня, когда я смотрю на него с самолета. Может быть, потому, что при этом всегда вспоминаю совсем иную картину...

В начале 1945 года мы стартовали с нашего аэродрома для аэрофотосъемки и взяли курс на Варшаву. Погода была отличная, как раз такая, какая была нам необходима. Мы достигли высоты в 1 500 метров. Самолет сделал разворот над Вислой, и река на мгновение взмыла вверх. Когда она исчезла из глаз, я увидел внизу разрушенную Варшаву... Яркое солнце беспощадно освещало останки города... На секунду я закрыл глаза. Мне показалось, что во всем этом изодранном, истерзанном и исковерканном пространстве экипаж нашей машины — это единственные живые существа, которые через мгновение тоже рухнут в мрачные кладбищенские развалины...

Разбитый кирпич превратил целые кварталы в огромные коричнево-красные пятна, похожие на запекшуюся кровь. Черные колодцы руин казались бездонными...

Я посмотрел на сидящего рядом товарища. Он так же, как и я, с ужасом смотрел вниз. Руки его дрожали...

Прошло двадцать лет, Варшава стала совершенно иной — солнечным городом, полным радости. Иной стала и вся наша Польша.

Вид на Маршалковскую улицу и площадь Конституции.

ВАРШАВА, мой солнечный город!

Недавно в Варшаве я встретил советского пилота, который во время боев за освобождение Польши потерял зрение. Этот героический офицер видел Варшаву разрушенной, в пламени и дымах пожарищ и уже никогда не увидит ее такой, какой она стала сегодня. Если бы он смог! Это было бы для него заслуженной наградой!..

Мы отдаем себе отчет в том, что свершили за прошедшие 20 лет, понимаем правильность пути, по которому идем. Но, я полагаю, иногда стоит оглянуться на двадцать лет назад, сравнить две картины. Тогда лучше ощущаешь героику повседневности.

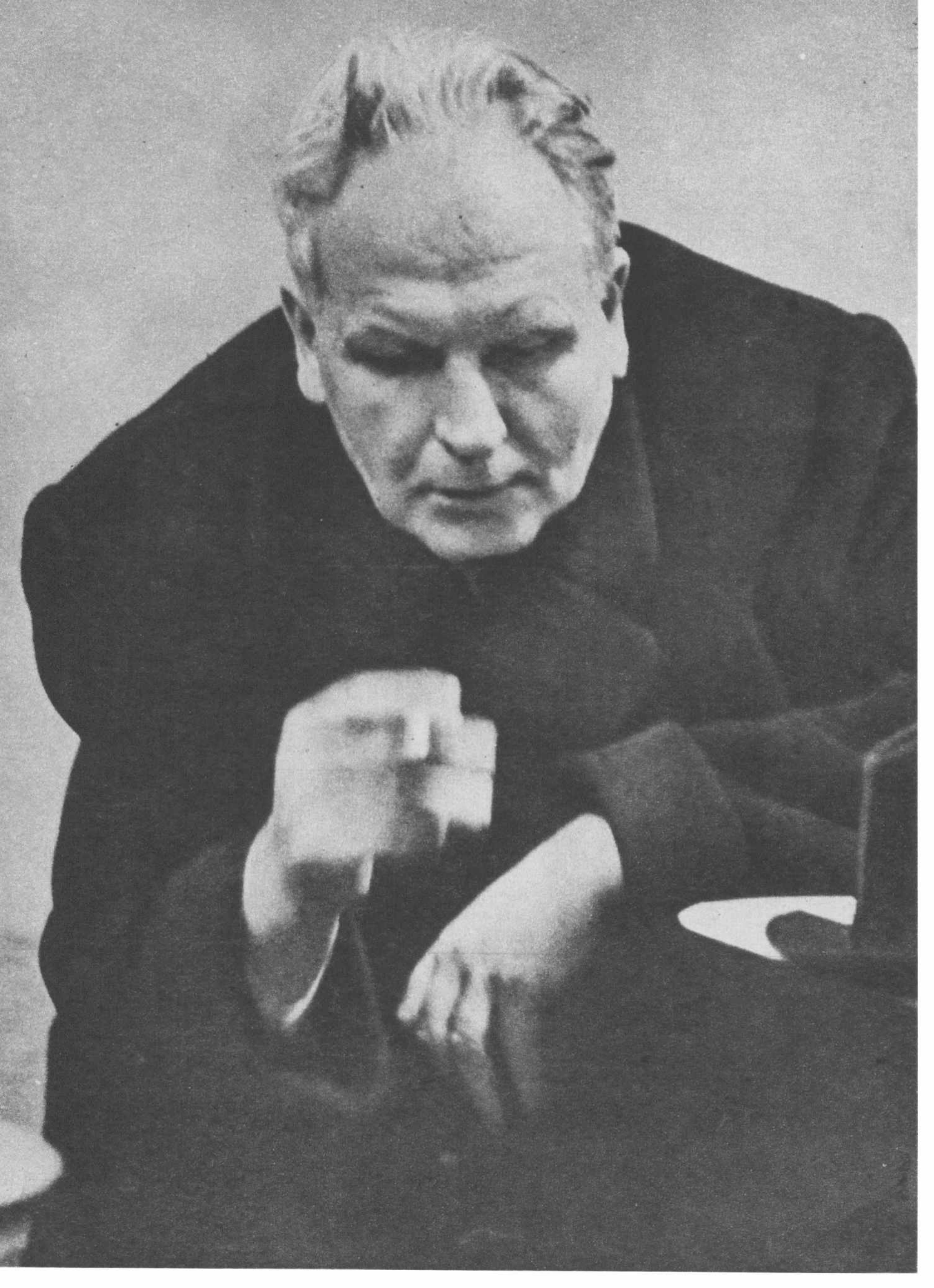
Я часто гляжу с самолета на Варшаву, и мне кажется, что я вижу всю Польшу.

Иерусалимские аллеи — одна из возрожденных улиц польской столицы.

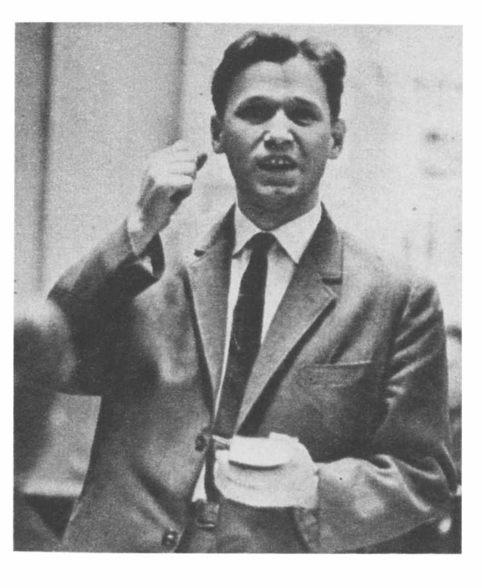


Такой была Варшава двадцать лет назад.



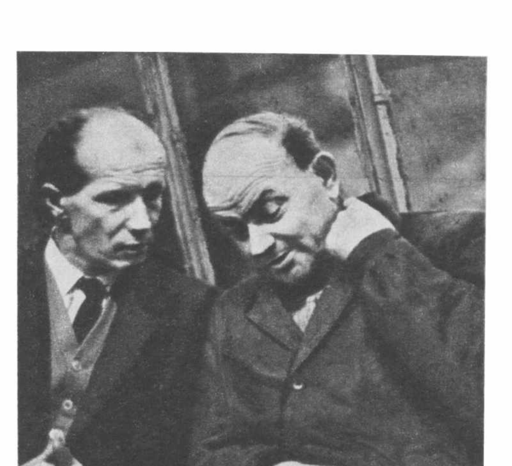


РАЗДУМЬЕ. Главный инженер ОКБ-2 Г. М. Крестешников. Сейчас он поднимется и скажет короткую и простую речь.



ДОКЛАДЧИК. Член партбюро, начальник сборочного цеха Н. С. Чикирев: «Сроки, сроки, сроки!..»
Реплика с места: «А качество?!»

ВОЙДИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ! Заместитель начальника цеха П. А. Сидоров: «Тонем в бумажном море... И еще одно: не присылайте «дошкольниц» вместо конструкторов...»



КРИТИКА, КОНЕЧНО, НЕ САХАР, НО... Конструктор М. А. Кунин и технолог К. Ф. Зюзин.

И. ТУНКЕЛЬ, З. ХИРЕН

КОМ

Под руками этих людей оживает металл, превращается в умнейшие автоматические линии с программным управлением. Но в данную минуту поднятые руки неподвижны, застыли. Впрочем, это не вполне точно. Лес рук как бы подпирает спину юноши.

Хорошо, когда знаешь, что рядом друзья, много друзей. Наладчика сборочного цеха Московского станкозавода имени С. Орджоникидзе Юрия Макеева принимают в партию. Он повернулся лицом к президиуму, и ему не видны руки тех, кто за спиной, в глубине застекленной галереи, где происходит собрание. Председатель объявляет:

— Принят кандидатом в члены КПСС единогласно!

Второй пункт повестки дня на этом исчерпывается. Но правильно ли называть его вторым? А не продолжение ли он первого, бурного, кипучего?

Перед самым собранием мы разговорились со слесарем Георгием Васильевичем Вдовиным, человеком тихим, спокойным, с пристальным, зорким взглядом. Заметил он, что паренек забыл заправить одну из деталей маслом, подошел, коротко объяснил молодому рабочему, что из-за этой, казалось бы, мелкой оплошности жизнь сложнейшего механизма укоротилась бы на несколько лет. А ведь не скажешь, что у паренька такое могло быть на уме. Нет, не скажешь. Но коммунист не может проходить и мимо самой крошечной оплошности. Не в том дело, что какой-то особый у него характер. Просто хозяйский взгляд. И других учит быть хозяевами в собственном государстве — все естественно и без всякой демагогии. Партия от коммунистов ничего сверхчеловеческого не требует, только самого что ни на есть человеческого: не будь равнодушным, будь смелым, принципиальным, деловым, без лишних разглагольствований.

Сначала мы решили назвать свой репортаж об открытом партийном собрании «Озабоченные лица»: главное, что владело людьми на этом необычном собрании,— озабоченность. И наши снимки — как говорится, объективная картина, потому что никто не позировал перед фотообъективом, мы попали в разгар собрания, присутствующим было не до нас, они целиком ушли в свои дела, трудные, сложные.

На этом партийном собрании почему-то сразу пришла мысль о том, что нельзя себе представить на нем ни одного оратора, читающего речь по бумажке или «рапортующего» о несуществующих свершениях. Речь шла о близком каждому деле. Со многими из этих людей мы встречались в цеху, в конструкторском бюро, в буфете, в красном уголке. Обычно все разговоры касались тех самых автоматических линий, о которых речь шла и сейчас, и конкретно о той, что собирали рядом, за стеклянной стенкой галереи. Когда оратор напомнил, как при наладке одного из станков этой линии обнаружилось, что резец дает сильную дробь, вибрирует, создает неровную, волнообразную поверхность, люди вздрогнули и инстинктивно потянулись к окнам, чтобы взглянуть на станок.

На собрание пришли не только сборщики, коммунисты сборочного пригласили к себе





представителей соседних цехов, конструкторов, работников производственного отдела.

Сборочный цех особенный. Сюда стекается продукция отовсюду, и здесь этой продукции знают настоящую цену. Ни одна малейшая ошибка, ни один крошечный деффект не пройдут бесследно, ведь тут из деталей собирают те самые автоматические линии, которые называют властелинами безлюдных цехов. Что это значит, понятно каждому. На смену сотням людей приходит тысячерукая машина, которой управляют две девчушки.

«Озабоченные люди» сборочного вторглись в дела соседних цехов. А если проще: коммунистам завода необходимо было выяснить кое-какие свои общие вопросы. То и дело сборщики испытывают недостаток деталей, обнаруживают ошибки в чертежах конструкторов, а это задерживает монтаж, задерживает выпуск автоматических линий. В механических цехах немало брака. Допускаются ошибки в «начинке» станков. Казалось бы, обо всем этом знают на заводе, пишут в многотиражке «Новатор», обсуждают на производственных совещаниях, однако перемен мало. Коммунисты сборочного цеха хорошо знают своих соседей, знают их как великолепных мастеров, способных на многое. И, конечно же, больно, что именно эти люди, эти близкие им товарищи тормозят общее дело.

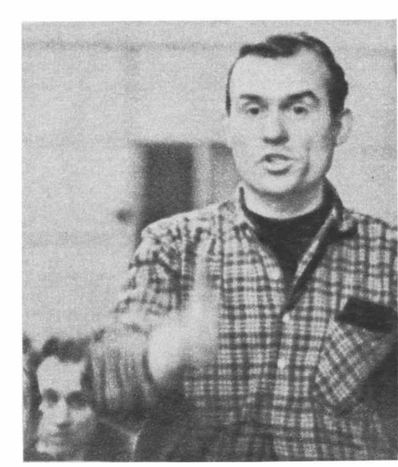
Поймут ли «гости», чего ждут от них сборщики? В чужую беду вникнуть не просто. Но чужая ли это беда? Ведь сборочный имеет отношение ко всем остальным цехам, прямое и непосредственное.

Сосредоточенно слушают ораторов.

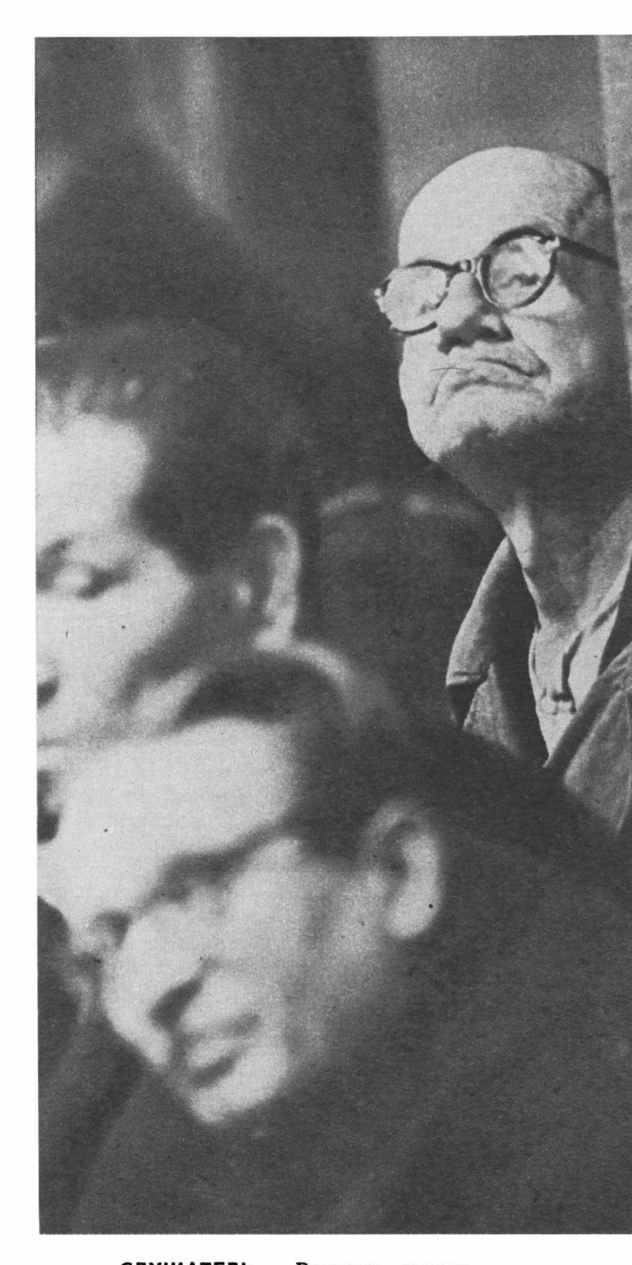
— Тонем в бумагах,— обращается к присутствующим заместитель начальника цеха Петр Алексеевич Сидоров, при этом делает энергичное движение руками, и создается впечатление, что он действительно утопает и взывает о помощи.

А речь идет о том, что на заводе существует ненужная переписка. Для того, чтобы получить деталь, крайне необходимую слесарю-сборщику в данную вот минуту, надо извести гору бумаги, потратить полдня, а то и больше. Разве не проще сделать три шага — механический цех рядом — и взять эту деталь? И, конечно, еще бы лучше, если бы в работе был ритм и деталь эта без напоминаний в положенное время приходила к ним в цех.

На этом собрании коммунисты стремятся вникнуть в суть дела. И как всегда это бывает, за каждой технической неполадкой стоят люди, человеческие проблемы. На заводе мало инженеров. Почему? Получит человек высшее образование и устремляется... на более высокую ставку. А платят больше не на производстве, а в различного рода управлениях и комитетах. Почему? Никто объяснить не может. Вред же двойной. С одной стороны, производство лишают нужных ему специалистов, с другой — специалисты эти сами себя лишают практики, отрываются от живого дела. Конечно же, придет время, и инженеры опомнятся, пожалеют, что так легко расстались с производством. Их называют на заводе, не без язвительности, «перспективными товарищами». Но все понимают: перспективность липовая. Понимают, а изменить ничего не могут. Проблема? Проблема, да еще какая! Надо ее решать.



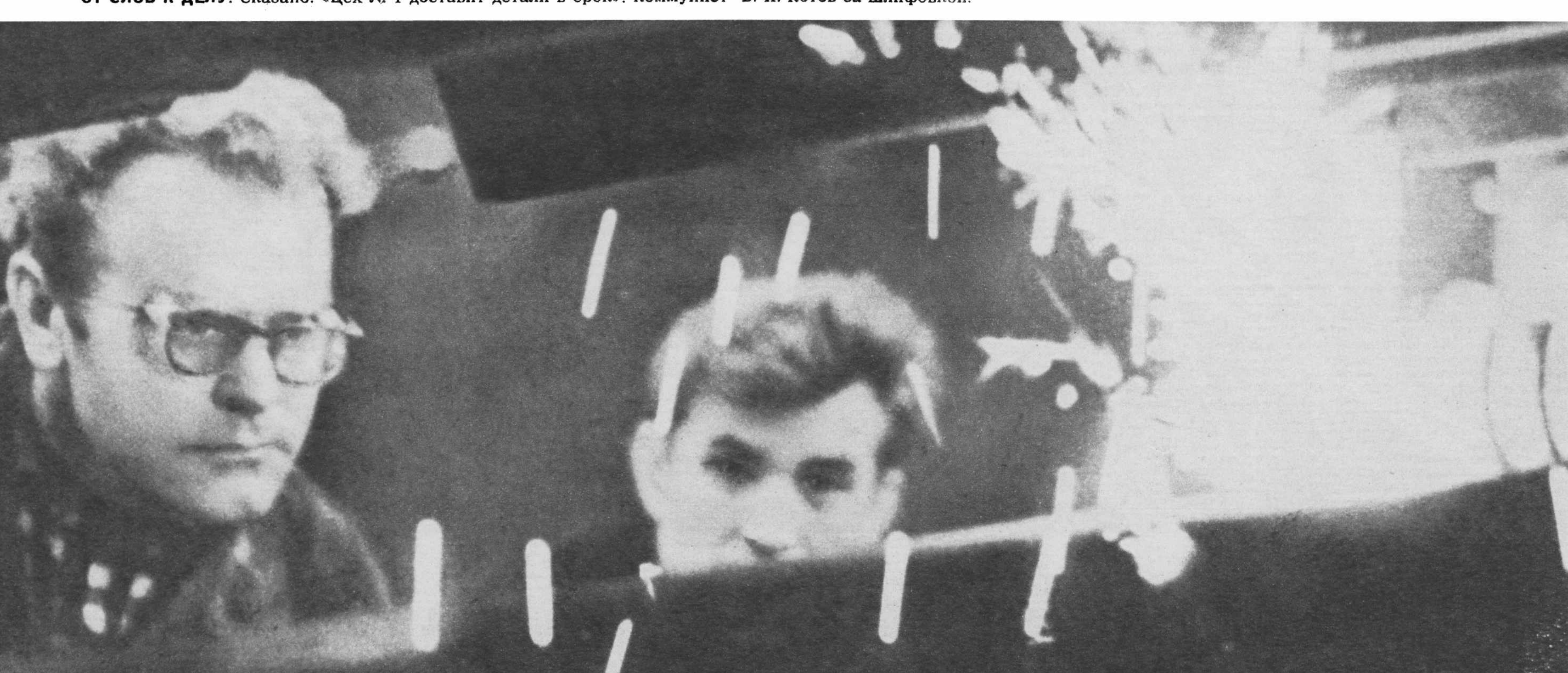
КРИТИКА. Слесарь Ю. Ф. Сохацкий: «Ржавые втулки? Этого еще не хватало!»



СЛУШАТЕЛЬ... Ветеран завода П. А. Костерев не выступал, зато на другой день в обед провел беседу с молодыми рабочими.

МУНИСТЫ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ. Сказано: «Цех № 1 доставит детали в срок». Коммунист Б. П. Котов за шлифовкой.



Говорят о конструкторах. С ними у сборщиков отношения, можно считать, очень хорошие. Конструкторское бюро — мозг завода, а сборщики воплощают в жизнь то, что зарождается в тихих светлых залах СКБ-1. Конструкторы доверяют сборщикам, советуются с ними, прислушиваются к их замечаниям. И в то же самое время существует почти невидимая «война» между этими двумя родами дружественных «войск». В чем же война выражается?

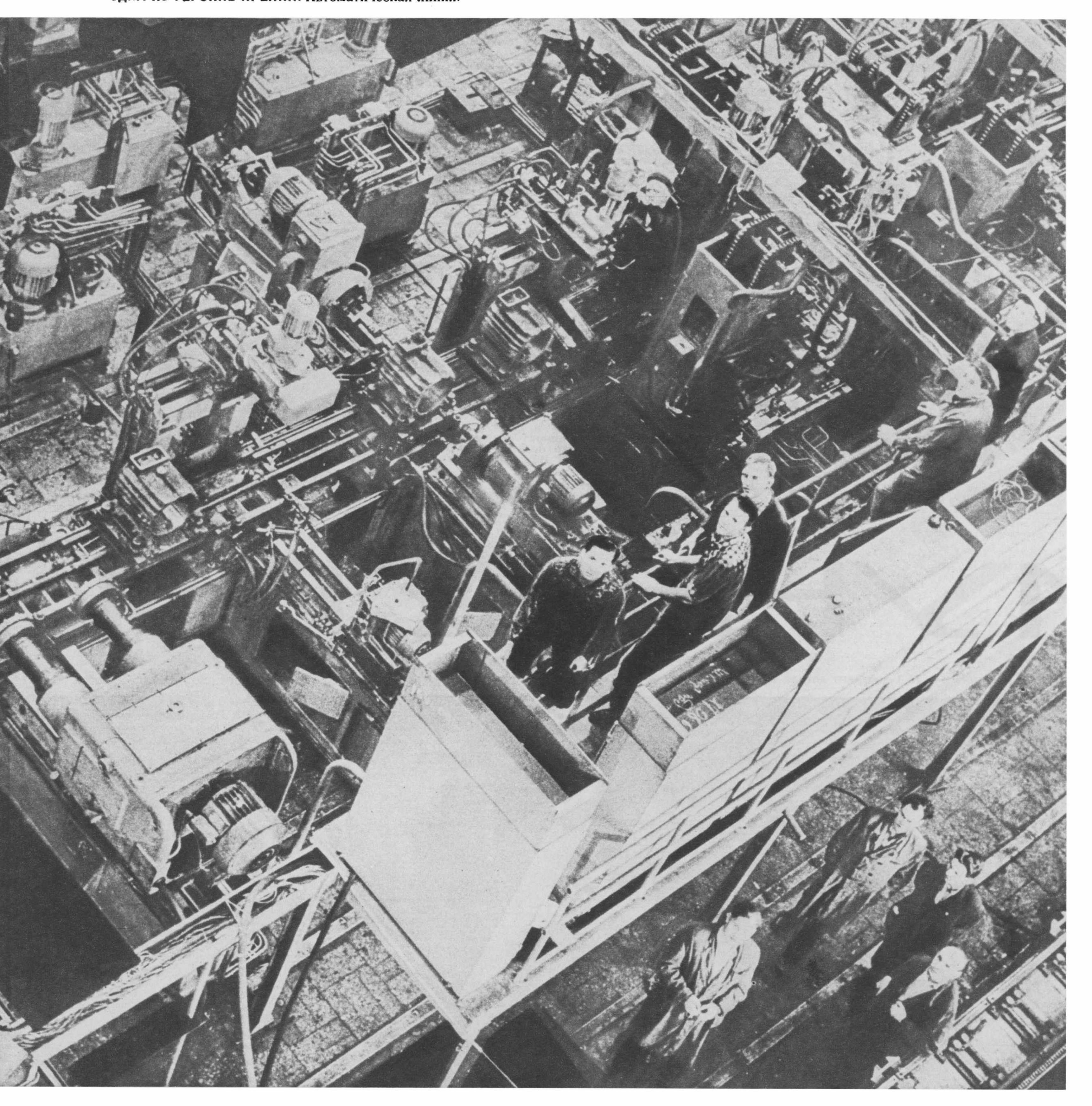
...Идет монтаж важного узла. Сборщик обнаружил неточность в чертеже, неточность можно быстро исправить, но для этого в цех должен явиться опытный конструктор, способный самостоятельно принять решение. А приходит порой ученица, она все выслушивает, но ничего решить не может. Возвращается в конструкторское бюро за помощью. Время идет, работа приостановлена. Сборщики выступают на партийном собрании и критикуют своих друзей-конструкторов. А те, в свою очередь, говорят:

— Но ведь должны мы молодых научить «порох нюхать». Да, мы знаем, что они пока еще не способны самостоятельно принимать решения, и все-таки посылаем их к вам. Пусть «ломают носы», а иначе никогда не поймут они производства.

Да, точно, молодежь надо учить, но все-таки не за счет сложнейших государственных заказов. Давайте вместе обмозгуем эту производственно-воспитательную проблему «пороха» и «носов». Мелочь — штука крупная, из мелочей вырастают часы, сутки, а то и недели непроизводительного труда.

Кстати, о конструкторах. Неподалеку от президиума сидит пожилой человек. Он пришел позднее других и даже не успел скинуть пальто. На столике перед ним черная шляпа. Это

ОДНА ИЗ ГЕРОИНЬ ПРЕНИЙ. Автоматическая линия.





СТРАСТИ УТИХЛИ... Партгруппорг Е. Кучерявкин (второй слева) вместе с друзьями Ф. Мишкиным, Ю. Сохацким, Н. Тихоновым вернулись на участок.

главный инженер ОКБ-2 Георгий Михайлович Крестешников. Такое впечатление, будто он занят чем-то своим и не очень интересуется происходящим на собрании. Но так лишь кажется.

Георгий Михайлович просит слова. Речь его краткая, деловитая и убедительная. Он все внимательно выслушал и называет специалистов, которых завтра же пришлет в цех.

Коммунист держит ответ перед коммунистами. Это очень важно, очень ответственно. Это самый откровенный и важный разговор с самой высокой трибуны. На следующий день к сборщикам явились те специалисты, о которых говорил Крестешников, и энергично взялись за дело. К слову сказать, то же самое произошло с товарищами из СКБ-1, с руководителями цехов.

...Мы часто говорим: оставить след в жизни. Люди, с которыми мы познакомились на этом собрании, оставляют зримый, весомый след в нашей индустрии. Их труд, их автоматические линии коренным образом меняют представление об автомобильном, тракторном производстве и о многих других отраслях нашей промышленности.

...На заводском дворе стоит монумент вечной славы. Гранитными, выпуклыми строчками — имена тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Слесари, термисты, мастера, модельщики, конструкторы, наладчики... Многие из них были коммунистами. Они не пришли в свои цеха после победы, как тысячи и тысячи других, чьи партийные билеты, простреленные пулями, хранятся как реликвии бессмертия.

Памятник запорошен свежим снежком. Рядом глухо вздыхает завод. Мимо идут люди, молодые, жизнерадостные,— новое поколение рабочего класса.

Мы начали свой репортаж с того, как принимали в партию молодого наладчика. На другой день мы встретили Юрия Макеева возле одного из агрегатов, он устанавливал какую-то большую деталь. Обычный рабочий парень, коммунист шестидесятых годов...

КОММУНИСТ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. Наладчик Юрий Макеев.

ПРЕССА НЕ ДРЕМЛЕТ. Рабкор В. Горохов зря времени не терял, тут же написал заметку и сдал секретарю редакции заводской газеты «Новатор» Г. Хлебниковой.

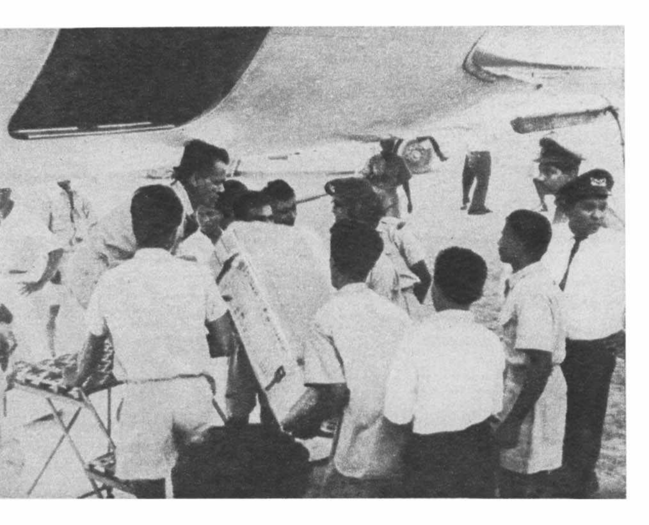




Московский университет присудил звание почетного доктора филологических наук известному французскому писателю-коммунисту Луи Арагону. На снимке: ректор МГУ И. Г. Петровский поздравляет Л. Арагона с присуждением ему этого звания. В центре — Э. Триоле.



Фото ТАСС, ЮПИ, журналов «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», «Штерн», Г. Копосова.



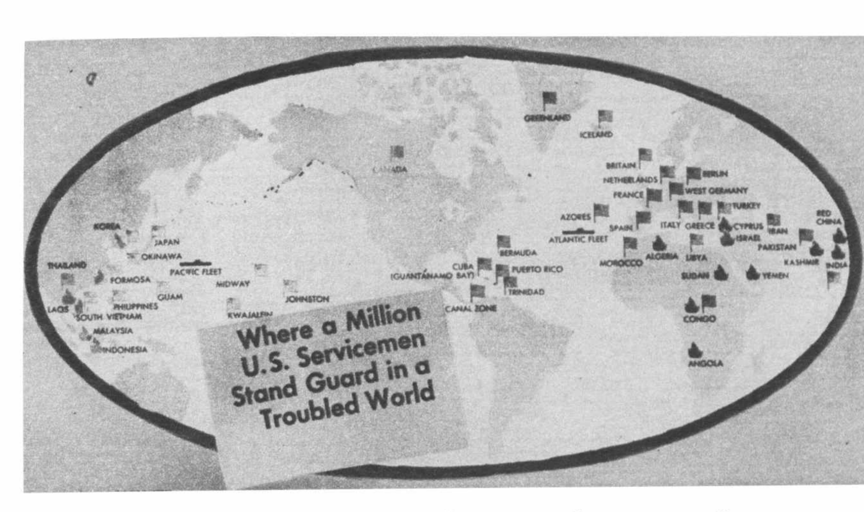
Над Цейлоном пронесся ураган. Для населения, пострадавшего от стихийного бедствия, были доставлены медикаменты, продовольствие и одежда из Советского Союза. Их привез в Коломбо советский самолет.



Снегопад в Париже — не совсем обычное явление. Он ставит перед городскими властями много проблем. Чтобы решить их, требуются... метлы.



У Бермудских островов потерпел крушение американский грузовой корабль «Смит Вояжер». Во время катастрофы перевернулась одна из спасательных шлюпок. Команду корабля подобрало западногерманское судно. Американский корабль затонул лишь неделю спустя после катастрофы.



Эта карта взята нами из журнала «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт». Вглядитесь: мир стал рябым от американских флагов, развевающихся над военными базами США. Больше миллиона американских солдат и офицеров обосновались в разных точках земного шара, от Гренландии до Панамы, от Южного Вьетнама до Испании. «Американцы готовы вести любую войну, на любом континенте, в любом климате»,— хвастается журнал. Джонов, джеймсов и диков отправили за тысячи миль от своей родины, чтобы они силой оружия защищали интересы доллара.

Во имя этих интересов США ведут войну в Южном Вьетнаме. Но в наше время оружие оказывается бессильным против стремления народов к свободе. Взгляните, с какой растерянностью осматривает главная американская марионетка в Южном Вьетнаме Кхань свое вооруженное и обученное американцами воинство. В сражении под Биньжиа, в 65 километрах от Сайгона, американские наемники потерпели сокрушительное поражение от южновьетнамских патриотов: два батальона были полностью уничтожены, почти целиком был разгромлен третий батальон, посланный на подкрепление. А когда правительственным войскам удалось занять позиции партизан, там уже не было никого: патриоты перебазировались в другой район, не понеся потерь.



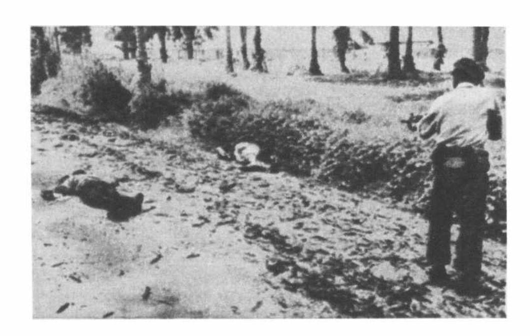
Тихо в Лондонском порту. У причалов стоят пустые баржи. 25 тысяч лондонских докеров бастуют, требуя улучшения условий труда.

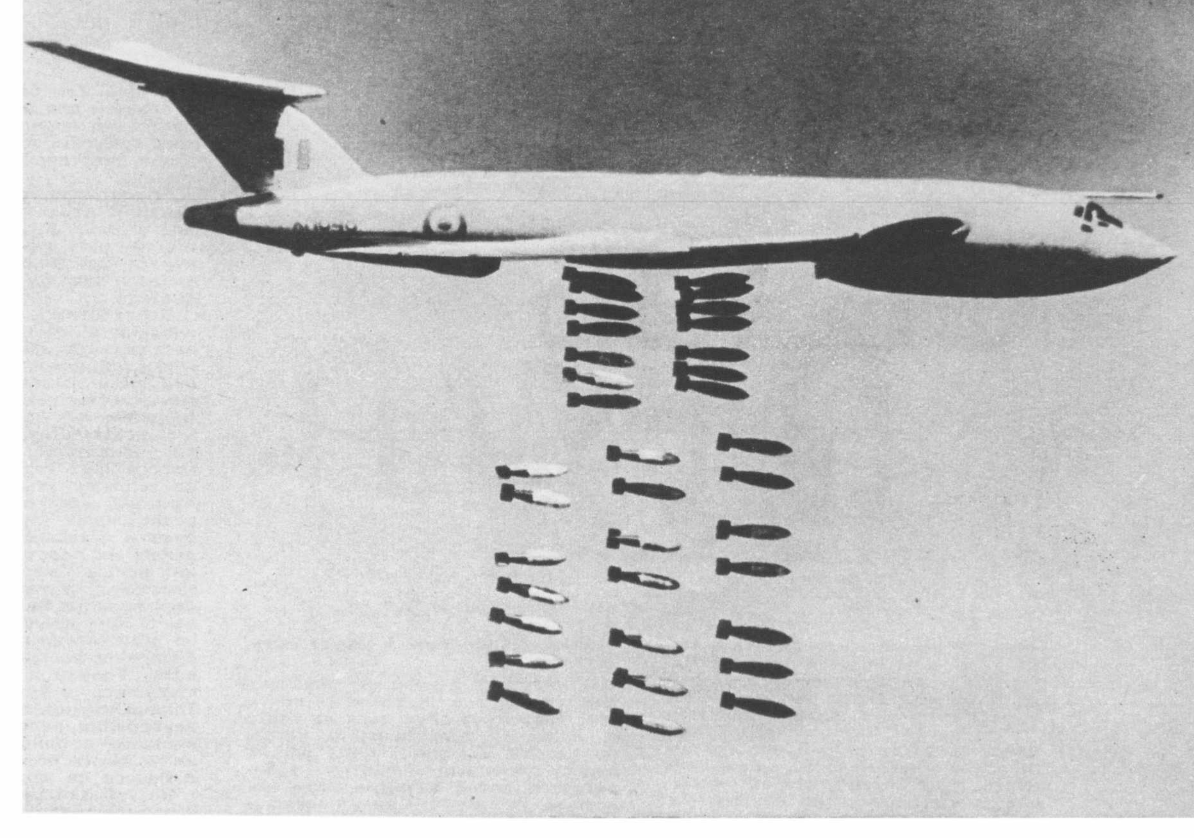


На карте из американского журнала флажок изображен и на территории Конго. Здесь ставленники колонизаторов, поддержанные Соединенными Штатами, творят черные дела. Головорезы Чомбе расправляются со всеми, кто кажется им подозрительным. Вот что, по фотосвидетельству журнала «Штерн», произошло на одной из дорог в Конго. Из джунглей вышли три человека. Они не были повстанцами. Но чомбовцы обыскали их и заставили повернуться спиной. Затем раздалась автоматная очередь...









Этот бомбардировщик английского военно-воздушного флота, способный нести 35 бомб весом по одной тонне, готов для отправки в Малайзию. Английский империализм решил защищать свое детище — Федерацию Малайзия, не останавливаясь перед применением такого вида оружия против патриотов.





Заводы Мессершмитта в Западной Германии заняты старым делом: там изготовляются военные самолеты. В последнее время на одном из заводов ведутся работы по созданию реактивного истребителя с вертикальным взлетом. Западногерманские милитаристы хотят иметь самое современное оружие.

Но население Западной Германии вовсе не единодушно с теми, кто лелеет мечты о новых военных авантюрах. Вот сцена, свидетельствующая об этом: на улице в западногерманском городе Оффенбахе идет сбор подписей против бредового плана создания «пояса атомных мин», который разработал бундесвер.



ВЫСОКИЙ ТРУД ДРАМАТУРГА

Воспоминания детства, вероятно, самые прочные воспоминания в жизни человека. Они могут уходить, но с течением времени снова возвращаться и удивительно рельефно вставать перед глазами. Но, может быть, особая память сохраняется, когда ты в детстве сталкивался с тем, что тебя поразило в искусстве и в литературе. Так и мне вспоминается город Ростов-на-Дону. Драматический театр. На сцене красноармейцы, матросы, перепоясанные пулеметными лентами, в полосатых тельняшках, те самые братишки, которые шли за революцию, не щадя своей жизни. Это был «Шторм». Тогда для меня неизвестен был автор. Да и кто из нас в ту пору заглядывал на афиши и список действующих лиц. Само действие было чрезвычайно близко: недавно закончилась гражданская война, и эти братишки и люди в серых шинелях отламывали тебе кусок черного хлеба и делились последним с тобой. Уходили в бой, и многие обратно не возвращались. Как можно это все забыть? И здесь уже в более прочной, мальчишеской, почти юношеской памяти всплывает классическая советская пьеса «Шторм», которую создал замечательный советский драматург, подлинный солдат революции Владимир Наумович Билль-Белоцерковский.

Для меня это были первые месяцы моей комсомольской жизни, первые страницы идейной закалки, идейной выучки.

И в эти дни, когда Владимиру Билль-Белоцерковскому исполнилось 80 лет, с особым уважением вспоминаешь его высокий труд, который продолжает жить и в «Шторме» и в других драматических и прозаических произведениях.

Хочется от всей души пожелать в эту большую годовщину здоровья и хорошего труда нашему старшему товарищу!

А. СОФРОНОВ

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Говорят, что писатель похож на свои книги. В какой-то степени это верно. Когда читаешь «Повесть о жизни» Константина Паустовского, то неизменно рядом с ней встает сам писатель как человек, как личность, и не потому, что он описывает свою жизнь, но потому — и это самое главное,— что в ней, этой поэтической, чистой и светлой книге, видишь и его душу и даже его внешний облик: старый, мудрый человек с несколько ироническим прищуром близоруких глаз.

Одной из важнейших примет настоящего художника является его умение увидеть красоту там, где мы ее не видим, почувствовать неведомые нашему обонянию запахи травы и нагретых камней, ощутить отблески солнца в скромном цветке, пробившемся сквозь асфальт, почувствовать музыку жизни в гудении шмеля и шум морской волны в раковине. Художник должен всегда что-то открыть нам. И мы благодарны ему именно за это — мир становится для нас шире, светлее, цветистей, праздничней, краше, как бывает в сказках или в детских снах.

Константин Георгиевич Паустовский и писал и говорил, что он очень любит безвременно погибшего Павла Васильева — поэта большого и звонкого таланта. У Васильева есть яркие, врезающиеся в память строки:

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил...

Вот таким поводырем мне и представляется Константин Паустовский, у которого все краски жизни становятся как бы отмытыми, сияющими.

«Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.

Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них не требует обязательного выражения своих чувств... Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением».

Это из «Повести о жизни», рожденной и умным созерцанием, наблюдением, и активным, бурным участием в жизни, и потому исполненной высокого напряжения. «Я думаю,— разъясняет далее Паустовский,— что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание — одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной».

«Повесть о жизни» — менее всего биографические записки, семейная хроника. Это повесть о судьбе поколения, которое подростками встретило 1905 год, варилось в кровавом котле первой мировой войны, двадцатипятилетними встретило Октябрь, гражданскую войну со всеми ее эпическими событиями и тяжкими бедствиями.

Наше поколение появилось на свет десятилетием позже. И то, что ведомо было им, людям девяностых годов рождения, для нас представляется подернутым туманом детства и ранней, зеленой юности. Но, читая повесть, явственно ощущаешь железную связь времен.

Многие из людей, встреченных Паустовским и описанных им, известны и нам, прошли где-то рядом с нами, знакомы лично или по рассказам старших братьев и товарищей. Тем более все описанное в повести для нас достоверно. Мы явственно ощущаем на губах вкус того времени, которое так ярко названо писателем: начало неведомого века.

«Прокричав гремящие слова, Керенский падал в кресло, содрогаясь от слез. Адъютанты отпаивали его. От него тянуло валерьянкой, как от мнительной дамы». Более точно и весомо, пожалуй, и нельзя сказать.

Константин Паустовский — сам южанин и любит юг с его яростным солнцем, синими тенями, шумными ливнями, запахами белых акаций и каштанов. Киев и Одесса, естественно, пользуются его привязанностью.

В главе «Предки Остапа Бендера» писатель рассказывает об Одессе 20-го года, когда белые были вышвырнуты оттуда Красной Армией: «Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади — все эти Привозы, Толчки и Барахолки — превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи».

Но твердой рукой новая власть наводила новый порядок, и уже товарищ Агин, недавний студент-юрист, садился за стол начальника Опродкомгуб, губернского продовольственного комитета, и соответствующая свита была с ним, состоящая «из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях. Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия — прекраснодушного философа и поэта — в окружении гремящих мечами и латами легионеров». Предки Остапа Бендера — «кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета».

Давно прошедшие годы как бы вновь приближаются к вам, и вы завороженно всматриваетесь в них, явственно ощущая, как движется назад, в дальние времена, уэллсовская машина времени.

Множество людей проходят в повести — известные и неизвестные — с простыми и сложными характерами, давно ушедшие от нас и еще живущие на земле. И каждого из них запоминаешь так, как будто был знаком с ним всю жизнь: и дядю Юзю, умершего в Японии от тоски по родине, и отца Георгия Максимовича, загубленного трудной жизнью, и бабушку Викентию Ивановну, добрую католичку, в которой религиозность удивительно уживалась с передовыми идеями, и учителя-латиниста Субоча, и захудалых помещиков Севрюков, и профессора Гилярова, который кричал на студентов, требуя, чтобы они не зарывали своих возможностей в землю, и полесских стариков лирников.

Писатели Бабель, Фраерман, Багрицкий, Ильф, Георгий Шенгели, журналисты Евгений Иванов, Василий Регинин — все эти люди известны и знакомы мне, по прочитав о них в «Повести», я как бы увидел их в бинокль, отчетливо и ярко, с чертами, ранее не примеченными, скрытыми от меня. И невыразимое чувство благодарности к художнику, давшему возможность по-новому взглянуть на них, людей, отмеченных талантом, яркой индивидуальностью, испытываешь, читая «Повесть о жизни». В ней все послушно действительности и вместе с тем окутано романтической дымкой, овеяно теплым жизнеощущением, свойственным автору, который страстно любит солнце и море, траву и камни, штили и бури и любит людей, несмотря на все их большие и малые слабости.

Помнится, в Одессе, в 1941 году, я встретился с Константином Георгиевичем в то время, о котором в одном из своих шутливых стихотворений Сергей Михалков писал:

В степи под Одессой
Не так интересно,
В степи под Одессой
Бомбят!

На город надвигалась вражья туча. Бомбили нас в самом деле каждый день, с отвратительной аккуратностью. Где-то на Большом Фонтане, где приютилась наша редакция Южного фронта, мы сидели с Константином Георгиевичем под деревом, покореженным осколком, и он рассказывал об Одессе, городе, связанном с его юностью, молодостью, рассказывал так, что от этого и море пахло сильнее и солнце казалось ярче. Бухали морские зенитки, на голове у Паустовского была каска, а сбоку висел противогаз. Теперь трудно представить его в этом воинственном одеянии. Рассказы Константина Георгиевича об Одессе были проникнуты и любовью к этому городу и грустью. Он страдал оттого, что к этому всегда веселому, буйному, кипучему городу подошла горькая беда.

Вскоре Константин Георгиевич уехал от нас. Ему нелегко было бы пережить все то, что выпало потом на долю Южного фронта — бесконечное отступление, пыль бескрайних дорог, дымы и пожарища, горечь частых утрат: до дня расплаты и расчета с врагом было еще очень далеко. Паустовскому и тогда уже было 50 лет.

Эти одесские дни мы вспомнили с Константином Георгиевичем совсем недавно на даче в Тарусе, летом 1964 года. Моросил веселый июньский дождик, прозрачная светлая кисея висела над садом, источавшим запахи цветов и мокрой травы. Константин Георгиевич рассказывал о Тарусе, о красоте здешних мест, таких исконно-русских, о чистых дубравах в ее окрестностях, о светлой, серебряной Оке и о том, каких отменных голавлей и окуней можно здесь изловить, если, конечно, умеючи подойти к делу.

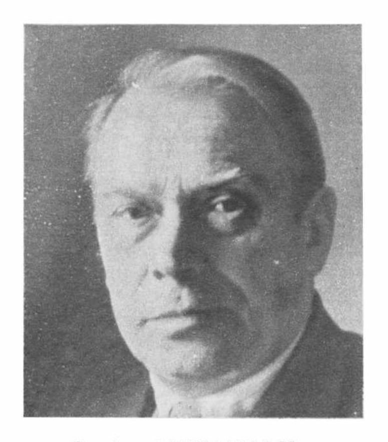
И мне вспомнились строки из его «Повести»: «Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором,— как средняя полоса России... Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы».

Читая это, невольно ощущаешь, что как-то еще дороже и ближе, светлей и радостней становится для тебя родная земля!

В кратком предисловии к первому тому «Повести» К. Паустовский написал: «Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду». И далее: «...Я бы хотел сейчас,— чтобы читатели... испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет,— чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни».

Очарованный книгой художника, сильнее любишь нашу жизнь.

Ник. КРУЖКОВ



В. А. СМИРНОВУ — 60 ЛЕТ

Кажется, никто еще не проделал исследования, сколько советских писателей пришли в литературу через газету. А это был бы небезынтересный поиск. Для многих, даже для очень многих прозаиков, поэтов и драматургов разных поколений газета явилась началом их творческого пути.

Подобную роль сыграли в писательской судьбе Василия Смирнова газеты «Ярославская деревня» и «Северный рабочий», в которых он начал работать с 1925 года. Выход в свет его первого романа, «Сыновья», отделён от этого рубежа большим сроком — полутора десятками лет, но тем не менее истоки его писательской биографии — в газете.

После «Сыновей», книги, ставшей для автора первой пробой сил, он приступил к другому роману, занимающему его и по сей день. Это — «Открытие мира».

Первая книга «Открытия мира» появилась в 1947 году. Она могла появиться и раньше, но этому помешала война: вместе со многими другими писателями автор был на фронте. Вторая книга увидела свет в 1955 году. События ее завершались в разгар первой мировой войны.

В конце 1964 года журнал «Знамя» напечатал третью книгу (первая часть) романа, которую заключает Февральская революция.

В заделе у писателя вторая часть третьей книги, а за ней проясняется в своих основных контурах и четвертая. Она будет завершать трилогию о русской деревне.

С этой четвертой у В. Смирнова связано особенно много. И не только потому, что она выведет героя в большую жизнь, а потому, что имеет отношение к такому периоду в биографии самого автора, который ему бесконечно дорог. Это 20-й год. В этот год писатель вступил в комсомол, а два года спустя — в партию.

«Открытие мира» стало для В. Смирнова главным делом его жизни. Сейчас писателю исполнилось 60 лет. И пусть удачно завершится это главное дело!

И. КОЗЛОВ



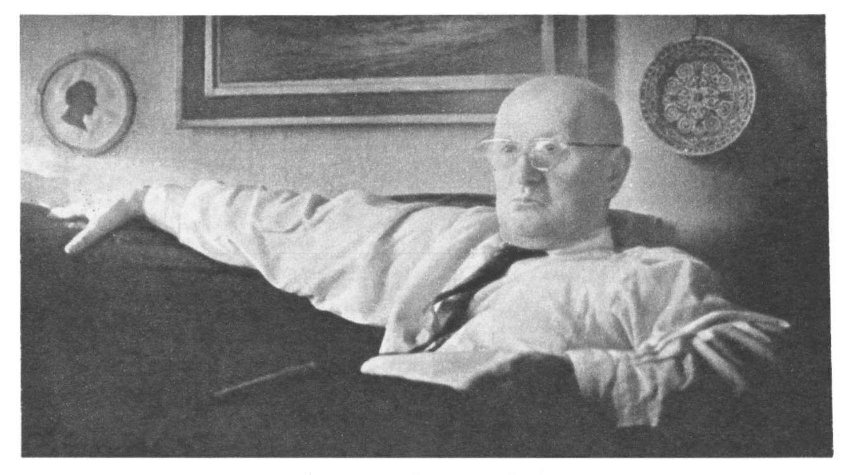
И. Радоман. УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕРБА РСФСР.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ



В. Буланкин. ПОТОМКАМ НА ПАМЯТЬ.

Через всю жизнь



Николай Кузьмич Щуклин. Фото Г. Копосова.

На одногорбом Машуке, поросшем густой щетиной кустарников, в каких-нибудь полутора километрах от каменных химер, скорбно застывших у места дуэли Лермонтова, есть еще одно памятное место. Над крутым склоном горы поднимается лобастый утес. С широкой каменной груди утеса смотрит знакомое всем, дорогое лицо: там, высоко на склоне, нарисован огромный портрет Ильича.

Старожилы Пятигорска помнят рождение наскального ленинского портрета. Это было летом 1925 года. В Пятигорске собрался 1-й краевой съезд горянок и терских казачек Северного Кавказа. И вот однажды в зал заседаний вошел человек. Он попросил слова и сказал, что хочет подарить съезду портрет Ленина. Делегатки могут увидеть его на горе Машук. Портрет нарисован прямо на скале. Осторожные горянки сначала послали на Машук свою делегацию. Когда же женщины своими глазами увидели необычный портрет Ленина, они были поражены его выразительностью, размерами и оформлением. Здесь, у подножия горы, было проведено заключительное заседание съезда.

Ранним июльским утром делегаты съезда направились к Машуку. Внизу перед портретом расположился оркестр, вокруг которого образовался алый венок из знамен. Оркестр заиграл «Интернационал»; большое серое полотно, закрывавшее портрет, соскользнуло вниз, и все увидели лицо Ильича.

Много страстных речей было произнесено у портрета делегатками съезда. Одна из них, старая неграмотная горянка Гутиева, сказала: «Раньше мы хотели, чтобы горы сдвинулись и закрыли нас от проклятого царизма, а теперь мы хотим, чтобы они раздвинулись и чтобы свет Ленина озарял нас!»

Так началась жизнь портрета. А человек, нарисовавший его на скале, коренастый, энергичный парень с веселыми серыми глазами, вскоре уехал. Он скупо рассказал о себе. Зовут Николаем, фамилия — Щуклин, рабочий Главных мастерских в Ростове.

С тех пор прошло почти сорок лет. А люди каждый день встречаются с родным Ильичем на Машуке. Появились у священного места и свои традиции. Комсомольцы устраивают здесь торжественные собрания, школьников принимают в пионеры. По праздникам молодежь украшает портрет Ленина цветами и стоит около него в почетном карауле...

Как же сложилась жизнь у автора ленинского портрета?

Шел 1944 год. Николаю Кузьмичу Щуклину, который жил в это время в Москве, пришло письмо из Пятигорска, от старого друга:

«Портрет Ильича изуродовали фашисты. Они хотели его уничтожить. Пробовали закрасить известью. Дожди смыли их мерзкую работу. Тощий лейтенант приказал подтянуть к подножию Машука пушку... Но разве можно убить веру в Ленина? Николай! Приезжай скорее. Чужие люди, как смогли, вернули портрету жизнь. Ты же вернешь ему прежнюю силу...»

Н. Щуклин приехал в Пятигорск и восстановил портрет. А на скале рядом появились взволнованные строки стихов, сочиненных самим художником:

Портрет вождя враги пытались
И расстрелять и зачернить.
Они в невежестве не знали,
Что Ленин будет вечно жить,
Что держит ленинское знамя
Над миром
партии рука,
Что Ленин жив, что Ленин
с нами
Идет в грядущие века.

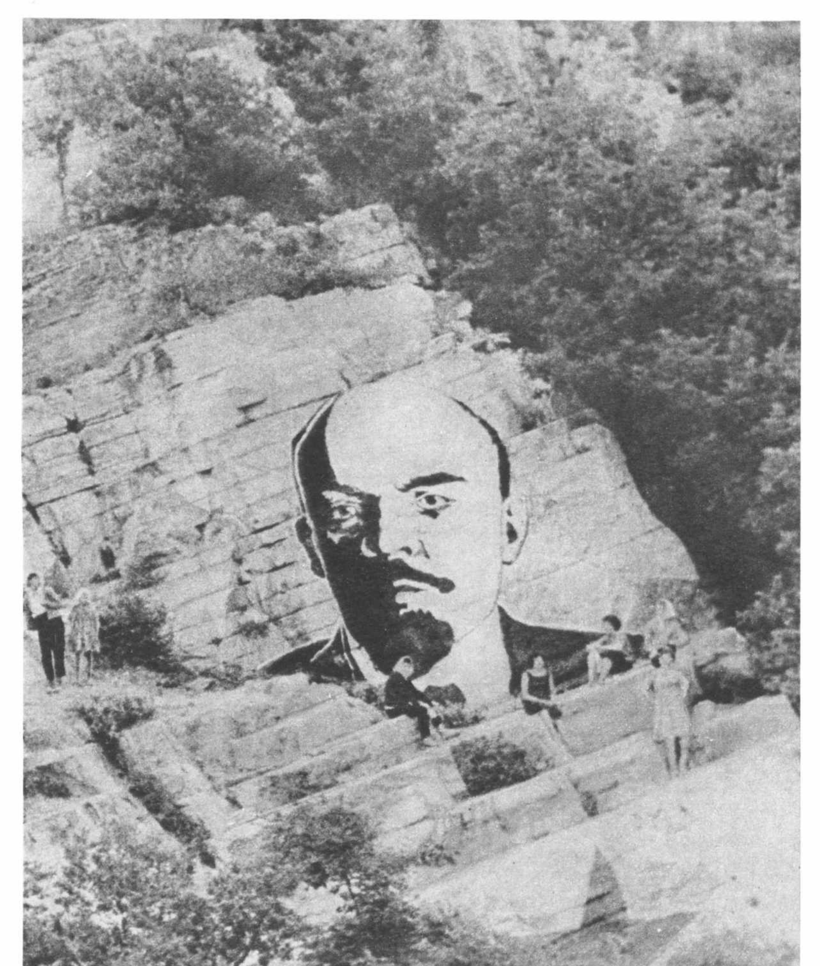
Спустя шестнадцать лет в Пятигорск пришла удивительно ранняя весна. В эту весну люди готовились к великому празднику — 90-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Как самого дорогого гостя приняли пятигорцы Николая Кузьмича Щуклина. Он приехал за несколько дней до праздника, осмотрел портрет, реставрировал его.

22 апреля 1960 года на Машуке состоялось в третий раз открытие портрета Ильича.

Недавно мы навестили Н. К. Щуклина. Бодрый, жизнерадостный, он полон энергии и сил.

Портрет В. И. Ленина на горе Машук. Фото А. Щекина. (Снимок сделан с вертолета.)



«Николай Кузьмич! Мы тоже москвичи. Побывали в Пятигорске и после Машука — к Вам...»

Художник очень смущен нашим неожиданным визитом. Да и мы испытываем некоторую робость. Но эта скованность длится секунды. Хозяин радушно усаживает нас, и завязывается непринужденная беседа...

Да, Николай Кузьмич тогда уехал из Пятигорска в Ростов. Ждала работа. По специальности Н. Щуклин был строителем. Работал над проектами станционных зданий. Через год страна объявила о начале строительства Туркестано-Сибирской железной дороги. В казахские степи хлынула молодежь. По путевке ростовского участкового союза железнодорожников уехал туда и Н. К. Щуклин.

Скрипела сталь средь выемок
Чокпара,
Старик Иртыш дорогу преграждал.
Степь раскалялась от ночных
пожаров,
И слово брал к повестке аммонал.

Эти стихи неожиданно вплелись в нить рассказа, и тотчас же последовал вопрос: давно ли Николай Кузьмич пишет стихи? Он ответил, что давно. Первое стихотворение было напечатано в 1916 году. «Стихи — моя страсть, и, пожалуй, посильнее живописи, которую я также люблю».

Вот небольшая книжечка под необычным названием «Авио-стихи», датированная 1924 годом. Автор стихов — Н. Щуклин. В те годы страна начала создавать авиацию. Повсюду возникали общества друзей воздушного флота. Н. К. Щуклин был в числе активистов, которые создали в Ростове «ОДВФ». Товарищи посылали его как своего представителя на Всесоюзные планерные состязания. Щуклин сделал там много зарисовок. Итогом этой увлекательной поездки явилась книжка «Авиостихи».

Сейчас Николаю Кузьмичу Щуклину семьдесят лет. Он живет в Москве, на Киевской улице, неподалеку от вокзала. Большой каменный дом смотрит на паутину железнодорожных путей, простирающихся перед ним. Нам это кажется символичным: старый путеец не расстается с голубыми рельсами.

Станислав ГЛУШНЕВ,
Галина РОЙ





Валя Казачка в тылу врага. Начало 1943 года.

ИЗ РАССКАЗОВ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ

Александр Александрович Лукин начал работать в ЧК и стал разведчиком с юных лет, в первые годы существования Советской власти. В это трудное время он не раз выполнял сложные и опасные задания, проникал в сокровенные глубины контрреволюционного подполья, находил щупальца, тянущиеся к нему из-за кордона, и обрубал их. В годы Великой Отечественной войны А. А. Лукин — заместитель командира по разведке в знаменитом отряде Героя Советского Союза полковника Д. Н. Медведева.

Валя казачка

Александр **ЛУКИН**

Новый, 1943 год принес разведчикам специального чекистского отряда под командованием Героя Советского Союза Д. Н. Медведева много работы. Это было время, когда бомбы, снаряды, мины который месяц подряд кромсали стены легендарного города на Волге. Фотография универмага на площади Павших борцов, из подвала которого советские автоматчики вывели два десятка гитлеровских генералов и генерал-фельдмаршала Паулюса с поднятыми руками, еще не обошла газеты всего мира. Но судьба многотысячной окруженной группировки немецких войск уже была предрешена.

Из истории величайшего сражения известно, какие отчаянные усилия предприняло фашистское командование, чтобы вырвать армию Паулюса из железного кольца советских дивизий. Специально с этой целью в декабре на участке фронта протяженностью в шестьсот километров по приказу Гитлера была создана группа армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала фон Манштейна. Гитлеровцы перебрасывали войска к Волге из Франции и с других участков Восточного фронта.

Ежедневно разведчики нашего чекистского отряда собирали в оккупированных еще Ровно и Здолбуново множество бесценной информации о передвижениях фашистских войск и планах командования вермахта.

Как это часто бывает в разведке, возникли трудности со связью — своевременная доставка добытых сведений нашему командованию. Отряд располагался от Ровно на расстоянии, которое связные могли преодолеть в лучшем случае лишь за сутки. Да и путь был сложный, тяжелый, опасный. Вот почему решили послать в Ровно радистку, которая передавала бы информацию прямо из города. Мы понимали, что рация продержится не больше двух недель — ее запеленгуют,— но эти две недели могли быть решающими.

Выбор командования пал на Валю Осмолову, которую отчасти за происхождение, а скорее за характер чекисты прозвали Казачкой. Валя, дочь старого красного партизана времен гражданской войны, была хорошей радисткой и бесстрашным человеком. Еще до войны она стала одной из первых девушек-парашютисток. В немецкий тыл Валя прыгнула в составе одной из первых групп разведчиков отряда. По выработанному в штабе отряда плану Казачка должна была остановиться в доме № 6 по улице Франко, принадлежавшем Ивану Тарасовичу Приходько — старшему брату одного из лучших наших разведчиков, Николая Приходько.

Дом Ивана Тарасовича был одной из основных и ценнейших наших конспиративных квартир, на которой не раз останавливался Николай Кузнецов, работавший в Ровно под именем «обер-лейтенанта Пауля Зиберта». Жена Ивана Приходько — Софья Юзефовна была по происхождению немкой, ее отец в первую мировую войну оказался в русском плену и остался жить в Ровенской области. Пользуясь этим обстоятельством, Иван выхлопотал у гебитскомиссара Ровно документы так называемого фольксдойче, то есть местного жителя немецкого происхождения. Это давало ему довольно значительные привилегии. Гитлеровцы считали фольксдойче своей опорой в оккупированных странах, покровительствовали им. По этой причине дом № 6 по улице Франко был у гестапо вне подозрений. Невзирая на ежедневную опасность, грозившую и им и их детям за связь с чекистским отрядом, Иван и Софья Приходько неоднократно выполняли наши задания, хранили у себя в доме оружие и взрывчатку.

Подготавливаясь к приезду Вали, Софья и Иван по нашему указанию заранее распространили среди ближайших соседей слух, что ждут к себе «невесту» Николая Приходько. Доставить радистку в Ровно поручили Николаю Кузнецову и «жениху» Николаю Приходько.

Готовились к поездке тщательно. Наши расторопные снабженцы раздобыли по такому случаю шикарную бричку на мягких рессорах, уложили в нее несколько охапок сена, постелили дорогой ковер. Под сеном аккуратно разместили портативную рацию, питание к ней, гранаты, автоматы, взрывчатку. Девушку снабдили и хорошим по тем временам гардеробом: модными платьями, туфлями, парфюмерией и прочими принадлежностями женского туалета. Подруги-радистки сделали Вале давно забытую прическу мирного времени.

Особое рвение во всех этих приготовлениях проявил комсорг отряда москвич-парашютист Валентин Семенов, вообще-то к операции никакого отношения не имевший. Но ни для кого не было секретом, что отважный командир нашего эскадрона конных разведчиков в последнее время пользовался каждым поводом, чтобы завернуть к «чуму», где жили девушки-радистки. И не только обязанности секретаря комсомольской организации неприодолимо тянули его туда. Изобретательный и хитрый разведчик, Валентин, увы, в делах сердечных был простодушен, что, впрочем, вполне естественно в двадцать лет... Дмитрий Николаевич Медведев сочувствовал Валентину и делал вид, что не замечает его возле брички, где полагалось находиться лишь лицам, причастным к делу.

Наконец все было готово. Обер-лейтенант Пауль Зиберт помог своей элегантной спутнице подняться в экипаж, сам сел рядом. Место на козлах занял «жених» — Николай Приходько в форме солдата вермахта.

Провожаемые добрыми напутствиями и тоскливыми взглядами комсорга, разведчики тронулись в путь. Через несколько часов добрые кони подкатили бричку к мосту через реку Горинь. Мост небольшой, проехать его — пустяковое дело. Но теперь, зимой, его покрыл тонкий коварный ледок. Он-то чуть и не стал причиной трагедии... Испугавшись чего-то, кони неожиданно рванули, понесли и перевернули бричку. Кузнецов, Валя и Приходько, не успев даже понять, что произошло, оказались выброшенными в снег. Сам по себе эпизод в другое время мог бы закончиться лишь общим хохотом. Но разведчикам было не до смеха: все содержимое брички — рация, батареи питания, автоматы и прочее — вывалилось... прямо под ноги оторопевшим от изумления немецким фельджандармам, охранявшим мост.

Быть может, мне бы пришлось поставить точку в этом месте рассказа, если бы Николай Иванович Кузнецов не обладал драгоценнейшим для разведчика даром — не теряться ни в какой неблагоприятной ситуации и мгновенно находить единственно правильное решение. И не только находить, но и мастерски приводить в исполнение. И на этот раз хладнокровие не изменило ему. Прежде чем фельджандармы пришли в себя, он вскочил на ноги, выхватил парабеллум, направил его на Валю и обрушился на немцев с бешеной руганью:

— А что вы глазеете, бездельники? Это задержанная русская партизанка. Ну-ка, пошевеливайтесь, да поживее!

Немецкая армия недаром славилась своей слепой, бездумной дисциплиной. Ослушаться офицера, а тем более проверить его документы никто и не подумал. Суетясь и мешая друг другу, фельджандармы кинулись выполнять приказание. Когда все было подобрано и уложено, обер-лейтенант грубо толкнул Казачку (видел бы это Валентин Семенов!), а нерасторопного кучера Николая Приходько для большей убедительности чувствительно ткнул кулаком, справедливо рассудив, что его здоровью это не причинит особого ущерба. И снова в путь. Вскоре разведчики подъехали к дому Ивана Приходько.

Началась работа...

Попытки немецких войск освободить 6-ю армию окончились плачевно. Группировка Манштейна была отброшена. Весь январь части Красной Армии добивали гитлеровцев в самом городе. 31 января немцы капитулировали.

Советская Армия перешла в ре-

шительное наступление. Началось освобождение Кавказа, Верхнего Дона, Украины. Наши разведчики в Ровно и Здолбуново работали теперь круглосуточно. Десятки зорких глаз прощупывали каждый эшелон: танковая дивизия из Франции... пехотная дивизия из Голландии... моторизованная из-под Ленинграда... Валя выходила на прямую связь с Москвой каждые несколько часов. Сеансы длились от пятнадцати до тридцати минут.

Николай Кузнецов, который уже давно пользовался квартирой Ивана Приходько, теперь нередко принимал здесь же своих приятелей. Его не совсем пренебрежительное отношение к хозяевам в глазах соседей оправдывалось тем, что супруги Приходько считались фольксдойче. В эти дни он чаще обычного заходил домой — и не только для того, чтобы занести Вале листки с очередными разведданными. Нужно было приободрить девушку, защитить ее, если вдруг понадобится.



Николай Кузнецов — «обер-лейтенант Пауль Зиберт».



«Обер-лейтенант Пауль Зиберт» (слева) и гауптштурмфюрер СС фон Диппен.

Предусмотрительность нашего замечательного разведчика была не излишней, беспокоился он не зря. Уже через несколько дней гитлеровцы засекли, что в городе интенсивно работает подпольный радиопередатчик. На улицах Ровно появились неуклюжие высокие автомобили с радиопеленгаторами. Квартал за кварталом обшаривали они город, нащупывая ту единственную точку, откуда радиоволны уносили за тысячи километров ценную информацию.

Начались облавы. И вот однажды грузовики с солдатами появились в районе улицы Франко. Врывались в дома, рыскали по всем закоулкам, переворачивали мебель, заглядывали в подвалы и погреба. Правда, никого не арестовывали. Видимо, в гестапо по «почерку» неизвестного радиста поняли, что работает профессиональный связист, специально подготовленный и наверняка хорошо законспирированный.

Дошла очередь и до дома № 6. Громыхая сапогами, в квартиру Ивана Приходько ввалились несколько солдат под командой фельдфебеля и... вытянулись в струнку. За столом в гостиной, потягивая яичный ликер, беседовали эсэсовский офицер в черном мундире и пехотный обер-лейтенант. Эсэсовец был самый настоящий — хорошо известный в городе сотрудник гестапо гауптштурмфюрер фон Диппен, один из ближайших «друзей» Пауля Зиберта.

Фельдфебель выбросил руку в приветствии.

— Где-то в ближайших домах работает русский передатчик, господин гауптштурмфюрер,— доложил он фон Диппену, как старшему по званию.

Эсэсовец снисходительно махнул рукой:

— Ищите. Желаю удачи.

Солдаты ушли. Кузнецов налил фон Диппену новую чашку кофе.

День за днем Валя Казачка снова и снова выходила в эфир. Снова и снова летели в далекую Москву точки и тире...

И вот однажды...

Шел срочный внеочередной сеанс. Из разных источников поступили сведения, позволяющие предполагать, что на Украину из Западной Европы спешно перебрасывают лучшее в фашистской армии крупное соединение — заново вооруженный, отдохнувший танковый корпус СС.

Чтобы остановить Красную Армию на границах Украины, немецкое верховное командование спешно создало новую группу армий. Командующим группой Гитлер назначил все того же генерал-фельдмаршала Манштейна. В середине февраля Гитлер решился на крайний шаг: лично прибыл в Запорожье, где провел совещание с высшим генералитетом. Фюрер требовал: остановить любыми средствами Красную Армию и перейти в контрнаступление.

Некоторые данные, касающиеся указанных событий, и должна была передать Валя Казачка во время внеочередного срочного сеанса связи с Москвой. Сосредоточенная и строгая, Валя прильнула к аппарату. Николай Иванович Кузнецов, чтобы не мешать напряженной работе радистки, рассеянно листал страницы какого-то иллюстрированного немецкого журнала, время от времени поглядывая в окно. Только что вернувшийся из Здолбунова Николай Приходько воспользовался случаем, чтобы хоть полчаса отдохнуть на диване. И вдруг Николай Иванович вскочил со стула:

— Гости!

Действительно, по противоположной стороне улицы шли к дому два офицера — из числа «друзей» «обер-лейтенанта Пауля Зиберта». Один держал в руках большой бумажный сверток.

Сами по себе гости не были опасны, но только не во время передачи, которую нужно было завершить любым путем. А сейчас... Стоило незваному пришельцу толкнуть дверь в соседнюю комнату — провал нашего лучшего разведчика, замечательной радистки и ценнейшей конспиративной квартиры был бы неминуем.

Не отрывая руки от ключа, девушка вопросительно посмотрела на Кузнецова. Прерывать исключительно важный сеанс из-за визита двух «приятелей» Кузнецов не мог.

— Быстро раздевайся — и в постель. Рацию под кровать. Ключ — под одеяло. Ты больная. Понятно? Николай — на кухню. Будь наготове...

Через минуту Валя была в кровати. Хладнокровной девушке все было понятно, кроме одного. Что делать с наушниками? Они не ключ, которым можно работать и под одеялом,— их место на голове!..

Но Кузнецов уже стремительно возвращался из соседней комнаты с ватой и бинтом:

— Ты очень страдаешь, у тебя болят зубы, ты даже не можешь говорить. Понятно?

На миниатюрные наушники, чтобы заглушить их комариный писк, наложены толстые ватные тампоны. Поверх тампонов плотно намотан широкий бинт, потом шерстяной платок. Валя сразу стала похожа на ребенка, заболевшего свинкой.

Кузнецов, быстро закончив «перевязку», знаками показал девушке, чтобы она продолжала работать.

Через полминуты в дверь уже стучали посетители. Открыл Пауль Зиберт:

— Ба! Кого я вижу! Мартин, Клаус! Хорошо, что заглянули. Я как раз думал, как проведу вечер. Всегда рад друзьям.

— Вот и я так думал,— оскалился долговязый гауптман Клаус,— что нет офицера гостеприимнее в этом проклятом городе, чем Пауль Зиберт. Кстати, мы не с пустыми руками. Принимайте!

И, разорвав бумагу, он водрузил на стол четыре бутылки яичного ликера и закуску. Началась пирушка. Вдруг обер-лейтенант Мартин заметил на вешалке, возле двери в соседнюю комнату, женские вещи... Он радостно загоготал:

— Нет, вы только подумайте, у него в гостях дама, а он даже не покажет ее друзьям! Ну-ка приглашайте сюда свою красавицу!

— Да какая там красавица! — отмахнулся Кузнецов.— Родственница моих хозяев, больная. Ну ее, только испортит компанию.

Но разошедшихся приятелей, разогретых выпивкой, удержать было невозможно. С грохотом отодвинув стулья, пьяно ухмыляясь, Мартин и Клаус направились к двери в комнату, где работала на рации Валя Казачка. Катастрофа... Даже ликвидация обоих гитлеровцев не спасла бы «обер-лейтенанта Зиберта» от разоблачения. Но выбора больше не было. Не спуская глаз с офицеров, Николай Иванович сунул руку в карман брюк и осторожно снял с предохранителя «вальтер», с которым не расставался ни при каких обстоятельствах. Зажав в ладони рукоятку пистолета, замер за кухонной дверью Николай Приходько...

Поначалу Клаус был галантен:

— Быть может, фрейлен будет настолько любезна, что оденется и почтит наш стол своим присутствием?

Валя в ответ только глухо простонала, изобразив на лице гримасу крайнего страдания.

— Ох, зубы, понимаете, зубы, ферштейн?

Клаус уже ничего не «ферштейн».

— Прошу, про-шу, фрейлен...

У Вали все оборвалось внутри — ведь все это время она продолжала непрерывно работать на ключе!

— Зубы болят, зубы! Не могу я! — Из глаз Вали покатились крупные слезы.

— Про-о-шу вас... фрейлен...

Еле сдерживая себя, Кузнецов с трудом оттащил Клауса от кровати.

— Ну, что вы привязались к несчастной девочке? Зачем она нужна нам со своим кислым видом?

Мартин, не такой пьяный, поддержал Зиберта и помог увести приятеля.

Спустя некоторое время Николай Иванович под предлогом, что ему утром рано вставать, выпроводил опасных и назвячивых гостей. Вздохнув с облегчением, прошел в комнату девушки.

— Все в порядке, Валюша, можешь вставать.

Девушка сидела на кровати и, прижав руку к лицу, продолжала охать:

— Зу-у-бы!

Николай Иванович рассмеялся.

— Они уже ушли. Маскарад окончен!

— Зу-у-у-бы! Болят! По правде...

У изумленного Кузнецова опустились руки. Случилось невероятное: у Вали Осмоловой от огромного нервного напряжения действительно разболелись совершенно здоровые зубы! Впервые в жизни.

Шестнадцать дней работала Валя Осмолова в квартире Ивана Приходько. Когда обстановка стала крайне опасной, мы отправили Валю обратно в отряд. Задачу она выполнила.

Все мы — и Валя Казачка, и Николай Иванович Кузнецов, и руководители отряда, и рядовые разведчики — радовались, когда вскоре услышали по радио сводку Совинформбюро о разгроме армий генерал-фельдмаршала фон Манштейна.

Николай Приходько героически погиб 22 февраля 1943 года. Ему было поручено срочно доставить пакет из отряда разведчикам в Ровно. В десяти километрах от города Николая задержал немецкий патруль. Он выхватил из повозки автомат и уложил десять фашистов. Раненный, Николай погнал лошадей в Ровно. Возле села Великий Житень его уже поджидала засада: тридцать солдат, подоспевших на грузовике. Николая снова ранили. Но, отстреливаясь, отважный разведчик убил еще шесть фашистов. Понимая, что гибнет, Николай привязал секретный пакет к противотанковой гранате и бросил ее в подползающих врагов. И только после этого выпустил себе в висок последнюю пулю... Николаю Приходько посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза...

А коммунисты Валя Казачка и ее муж, отважный разведчик Валентин Семенов, ныне живут в Норильске. И профессии у них самые мирные...



Дмитрий ГОЛУБКОВ

Рисунки А. ЛУРЬЕ.

Отцовский

I

Жизнь начиналась с запахов.

Был жирный запах масляной краски — это пахла квартира, куда мы приехали из Владыкина.

Был подземный, грибной запах длинного темного коридора.

Был тихий запах духов, пушистый запах теплой кофты, чистый запах мыла — это была мама.

Но все запахи побеждал особенный, торжественный, воскресный запах — отцовский. Это был запах табака, любимого отцом.

Я недавно снова вспомнил этот запах, осеняющий детство, вспомнил далеко от дома и бесконечно далеко от отца...

II

Мне было шесть лет. Мой стриженный под «бокс» затылок лежал на большой теплой руке отца. Какие странные пальцы на этой руке! Большой — коренастый, с квадратным мерцающим ногтем, указательный — сутулый, как старичок, с морщинистым мешочком-брюшком меж сгибов... Пальцы были покрыты желто-коричневым глянцем и пахли старым смолистым деревом.

Отец посасывал черную трубку, и в ней кто-то, не видимый мне, похрипывал, пришептывал и присвистывал... Голубоватые легкие клубки, разматываясь и расслаиваясь, плыли к пыльному окну... В комнате пахло нагретой травой, желтыми маслянистыми цветами... Пахло липовым цветом и голубоватыми облаками подмосковного лета...

Я прижимаюсь к седой груди отца. Рубашка расстегнута, и под маленьким бугорком слева белеет треугольник, не заросший волосами.

— Пап, это что?

Отец вздыхает, ласково щелкает меня по затылку и коротко отвечает:

— На войне... Немецкий солдат штыком.

— За что, папа?

— На войне, друг, не спрашивают, за что, про что... Просто убивают — и все...

— И ты убивал?

Он молчит. Я тормошу его за плечо.

— Расскажи!

Он снова щелкает меня.

— Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночуешь!

И выпускает белое упругое облако. И мне кажется, что это пушка выстрелила... «Стук, стук, стук» — бегут немецкие солдаты, стучат их сапоги... Все ближе, все тяжелее... «Стук, стук, стук...» Они отца растопчут!

Я падаю лицом на его грудь. Сердце отца стучит громко и тревожно.

— Папа! — вскрикиваю я и порывисто обнимаю его...

В коридоре четко стучат каблуки. Дверь отворяется.

— Опять курение! И опять дома!

Мама пришла.

— Сколько раз говорила, просила, доказывала! Сколько раз обещал: брошу, брошу! Не мужчина, а тряпка! И вдобавок — курить дома, при ребенке...

Отец подымается тяжело и виновато. Расхлябанные пружины кушетки жалостно взвизгивают... Дверь и форточка отворяются: «Надо же эту заразу выветрить!» Мама уводит меня в пропахшую лекарством комнатенку бабушки. Бабушка сидит, скрючившись, на кровати и — взад-вперед, взад-вперед — качается, морщась от боли... Мне жалко ее, и здесь душно, и я начинаю плакать...

Через час меня возвращают назад... Пьем чай. Длинное бледное лицо мамы кажется обиженным, круглое румяное лицо отца — виноватым... Он пьет чай с блюдечка (никак мама не отучит его от этой старомосковской привычки) и читает газету... В комнате пахнет уже духами, самоварным паром, ванильными сухарями... Но отцовский запах, крепкий, бодрый и тревожный, все еще стоит по углам, и я жадно вдыхаю его...

III

Когда мне исполнилось десять лет, меня стали оставлять одного с маленькой сестренкой. Уложив ее спать, я начинал рыться в ящиках отца. Их было два в косолапом, облупленном письменном столе. Остальные ящики отвоевала мама. Мамины ящики были неинтересные — плотно набитые, шуршащие, рассыпающиеся. В них бережно сохранялись какие-то письма, перевязанные голубой тесемочкой, переписанные от руки стихи про королеву в башне замка, коробочки из-под духов «Манон» и таблетки от головной боли.

Ящики отца были строги и просторны, и хранились в них только важные и нужные вещи... Большой, черно-коричневый от никотина, узловатый, как выкорчеванный пень, коренной зуб. Отец смертельно боялся зубных врачей и сохранил этот клык на память о своем единственном походе к дантисту еще в годы нэпа... Солдатский «георгий» — маленький легкий крестик на полинялой муаровой ленточке... Старая фотография: отец в гимнастерке с погонами, в фуражке с кокардой... Первая мировая война... Отец, солдат русского экспедиционного корпуса, сражается под Верденом с кайзеровскими войсками... Вот когда у него зубы-то болеть начали — от круглосуточного сидения в затопленных дождем окопах. Он рассказывал, что и курить стал, спасаясь от лютой зубной боли дымом,— так фельдшер ротный посоветовал... У меня тоже часто болят зубы. Мама говорит: наследственность, в отца. Мальчишески круглое лицо на фотографии сурово, но пухлые губы разжаты чуть виновато, чуть-чуть растерянно. Рука на эфесе шашки...

Я надеваю свою красную «испанку» набекрень и становлюсь перед зеркалом. Рука на воображаемом эфесе. Брови сдвинуты. Каблуки вместе... Фу, глупо как!.. Как маленький...

Вот это — другое дело: пахучая пачка, «Табак дорожный»... Не начата еще... Беру из маминого ящика иголку и тащу ею из неплотно заклеенной пачки волокнинку за волокнинкой. Отрываю от «Вечерки» узкую полоску и, бережно приминая золотисто-рыжие нежные волокна табака, скручиваю цигарку... Спичка щелкает сухим негромким выстрелом... Я затягиваюсь густым дымом и смотрю в зеркало. Лицо мое бледное и длинное, как у матери, но брови отцовские, черные, суровые. Я радостно хмурюсь и дымлю, дымлю... Голова тяжело, толчками кружится, рот наполняется вязкой и горькой слюной... Тушу окурок о подметку и выбрасываю его в фортку. Смотрю на пальцы: чуть-чуть пожелтели. Нюхаю — пахнут дымом и еще чем-то, наверное, так пахнет порох... Долго смотрю на желто-серую, словно запыленную фотографии отца и, вздохнув, прячу ее в просторный и строгий ящик.

IV

В то лето почти каждый день стояла странная погода: небо казалось затянутым марлей, солнце горело неярко и устало, жары особенной не было, а дышать нечем. Трава пожухла и полегла, птицы пели редко и скучно...

Мы с утра рыли большую яму в углу двора. Отец, отдуваясь и шлепая себя по белым, накусанным слепнями плечам, командовал:

— Так, друг, так... Тот край пошире, поровней. А дно у́же, у́же... Еще какое убежище будет! Не хуже, чем у людей... Не спеши в Лепеши, сила, друг, еще пригодится... Р-репо![1] — и сильно мечет лопату так, что она стоймя втыкается в зеленоватую глину насыпи.

Мы копаем уже четыре часа. Отец быстро устает, и «репо» объявляется все чаще. Виски отца голубовато-серые, цвета дыма. Белки глаз оранжевы от ночных смен на заводе и бомбежек. Бомбят нас почти еженощно, в трех километрах отсюда — Быковский аэродром.

Отец последний день дома — утром едет в часть, на вторую свою войну. Щуря глаза, он оглядывает наш скудный сад, трубка его сипит и коротко всхлипывает... Крякнув, он поднимается с травы, идет к яблонькам.

— Листочки совсем закуржавились,— сокрушается он. Листья низкорослой яблоньки порыжели, словно их огнем кто-то обдышал, некоторые из них свернулись, как самокрутки.— Без полива ни черта не будет! — решительно и яростно сплевывает отец и, раскачиваясь, идет дальше.— Ах, гад! — возмущенно рокочет он, присев на корточки возле груши-трехлетки.— Это он осколком ее так... Вот гад!

Я подбегаю к нему. Верхушка упругого деревца, устремленного вверх, словно маленький зеленый фонтан, косо срезана немецким осколком. А вот и он, гад... Пошарив в траве, я поднимаю колючий, иззубренный кусок железа. Кажется, что его жевала чья-то огненная пасть и только что выплюнула — ладонь ощущает тяжелое, покалывающее жжение этого злого, веского железа... Отец выхватывает осколок и, широко размахнувшись, швыряет в крапиву.

— Глины принеси! — хмуро бросает он.

Я бегу к убежищу и приношу в обеих горстях прохладную, словно речной ил, зеленоватую глину. Отец берет щепотку и, размочив глину слюной, замазывает светлую, телесного цвета ранку. Помолчав, говорит:

— Авось выживет!

— Еще как! — убежденно поддакиваю я.

Мы опять идем к убежищу, но отец медлит влезать в сырую глубокую яму. Он стоит под старой рослой елью, облокотившись на лопату, и обводит блестящими сощуренными глазами косой, заштопанный обрезками фанеры заборчик, ссутуленные яблоньки, грушу с уже присохшей и побелевшей глиной на макушке... Взгляд его, тяжелый и пристальный, скользит по блеклой траве, по насыпи, набросанной нашими лопатами... Сейчас он остановится на мне, и я словно боюсь этого цепкого взгляда. Стыдно, что вот целых два дня бездельничал и сад не полил. А велик ли сад? Четыре яблони, две сливы да груша. Правда, смородину тоже отец велит поливать, в ней, говорят, витамин С... Стыдно, что третьего дня опять у него табак из пачки таскал... Немного, всего на две закрутки, но все-таки... И вообще стыдно. Вот он в армию идет, старый, усталый, а я дома остаюсь... Я отворачиваюсь и беспечно задираю

---

[1] Отдых (франц.).



голову... Хорошо здесь, под этой старой, перегретой солнцем елью. Приятно пахнет крепким матерым деревом, теплой, желто-белой, как засахаренный мед, смолою... Вот так пахнут пальцы отца...

Тяжелая горячая рука ласково опускается на мое темя.

— Давай, друг, копнем еще маленько. Скоро конец.

Раскладушки наши стоят на террасе бок о бок.

Спать не хочется... Отец курит и ворочается, ворочается... Проходит товарняк, пол вздрагивает, и мне кажется, что мы с отцом едем куда-то по солнечному полю на потных горячих лошадях — бок о бок, бок о бок, бок о бок...

Отец расталкивает меня:

— Ну, ну! Вставай... Тревога.

Со стороны Раменского плывет, медленно приближаясь, глубокий, серьезный, убеждающий голос сирены. И вспыхивают звуки разрывов: сперва далекие, мягкие, непроснувшиеся, словно одеялом прикрытые, потом громче, голее, угловатее.

Мать, бледная и сонная, выходит с сестренкой на руках.

— Берите одеяла — и марш! — почти весело командует отец.

— А ты? — растерянно спрашивает мама.

— Здесь досплю. Мне эти хлопушки не помеха! — И, завернувшись в одеяло, решительно отворачивается к стенке.

Рядом, на табуретке, лежит трубка, и от нее, как от затухающей головешки, отползает слабый лиловый дымок...

V

В год окончания войны я перешел из обыкновенной школы в художественную. Он очень радовался. Сам смастерил мне этюдник и нашей рябой от ржавчины ножовкой вырезал палитру, примеряя ее на своем желто-коричневом, словно йодом обожженном, пальце. В комнате у нас запахло сосновым запахом скипидара, возбуждающим ароматом масляных красок и казеинового картона...

— А ведь у меня в реальном пятерка была по рисованию, — как бы невзначай бросает отец, со вкусом барабаня по дощатой крышке неуклюжего этюдника. И глаза его блестят молодо, чуть хитровато...

Мы ходим с ним в Третьяковку. Ему нравятся гладкие, как клеенка, старательные пейзажи Киселева и Боголюбова, а я тяну его за рукав выгоревшего «ордерового» пиджака к этюдам Коровина, растрепанным, словно кусты под дождем, к грозовой сирени Врубеля, к слоистым, как бутерброды, полотнам Кончаловского...

VI

В то лето я впервые жил не дома, а в лагере художественной школы, на Оке. Здесь все было крупно, вольно, размашисто. Река была настоящая река, спокойная и сильная, не то, что наша захудалая Пехорка, изнемогающая в пыльном поле. Небо просторно и широко облекало сочно-зеленые, косматящиеся луга. Овраги, словно темные омуты, влажно и гулко вырастали под ногами и тянули в свою курчавую глубину гибкими лапами переплетшихся елей и дубов... И даже лопухи были огромны и мясисты, словно уши слона... Соловьи, которых я впервые услышал здесь, долго мешали уснуть, и звезды, прильнув к стеклу окна, смотрели и гладили лицо своим бледным и пристальным светом до тех пор, пока я не открывал глаза или не отворачивался к стене...

Но жилось нам здесь не очень-то вольно. Купаться было запрещено: Ока в этих местах глубока и опасна. Уходить далеко от лагеря тоже нельзя: директор, Федор Августыч, не велел. И даже рисуем и пишем здесь мы, ученики младших классов, лишь тощего, сонливого старика натурщика со странным прозвищем «Гусейн Гуслия» да натюрморты. Считается, что до пленера еще не доросли...

«Ах, скорей бы домой!» — мечтал я, ложась спать и просыпаясь. Но проситься домой было стыдно, не маленький ведь — скоро пятнадцать... Да и время нелегкое, здесь хоть кормят сытно. Не вкусно, но сытно — ничего не скажешь...

Раз в две недели приезжает директор. Мы ждем его появления с удовольствием — все-таки развлечение... Он приезжает в лагерь с толстой, красивой женой и своим заместителем, лысым, черноусым человеком. Директор — малорослый, сутулый человек с хриплым и слабым голосом. Он худ, но лицо у него тяжелое, мясистое. Глаза брюзгливо сощурены, щека капризно вздергивается, увлекая за собой угрястое крыло горбатого носа. Рыжий ромбик «ворошиловских» усиков... Тяжелая кудлатая голова... В армии он никогда не служил, на войне не был, но обожает военную дисциплину: говорит отрывисто, командно, издает приказы по школе и сам печатает их на машинке...

Сначала гости долго едят в нашей столовой. Нам слышен сочный смех Зураба Григорьевича, осторожный хохоточек директорши, короткий звон граненых стаканов. Хорошо закусив и выпив, потные, красные, выходят они из столовой. Директор закуривает длинную дамскую папироску, и все идут купаться на Оку. Потом нас сгоняют на торжественную линейку. Борька Медведев, долговязый и кудрявый очкарик, болтая длинными руками, ворчливо командует:

— Давай, давай, филоны, цирк начинается!..

Мы строимся в чеканное каре, строго блюдя линию носков.

Выходит директор. Руки за спину, русо-рыжая мохнатая голова грузно клонится на слабой шее к груди. Щека нервно вздрагивает, глаза устремлены на наши носки... Все замирает, только липы вольнодумно шумят высокой листвою. Директор, горько морщась, смотрит вверх: там сине, зелено, солнечно... Он опять опускает тяжелую голову и вяло проходит перед строем. Словно очнувшись, вскидывается:

— Здр-рассте, товарищи!

— Здр-рассте, Федор Августыч! — радостно орем мы.

Представление окончено, и мы идем в столовую. Ради праздника к обеду дают по куску селедки, смоченной подсолнечным маслом, и по стакану глинисто-мутного компоту.

— Кто хочет добавки — просите! — сырым низким голосом говорит выдавальщица, просунув в квадратное оконце красное лицо с потными губами.

VII

Мы пили чай. В каменной полуподвальной столовой — бывшей людской большого барского дома, где расположился лагерь, — душно и тяжело пахло перекисающей дряхлой капус-



табак

той и щами, сваренными на залежалой солонине. Мы пили чай, стараясь дышать не носом, а ртом, и, наверно, поэтому потели так горячо и обильно.

Неуклюже перешагнув долгие, затертые до лакового блеска скамьи, ко мне протиснулся малый в грязной белой майке. Малый был из «стареньких» — старшеклассник. «Стареньким» разрешалось писать пейзажи маслом, и директор самолично просматривал их работы... «Старенькие» курили почти в открытую и глядели на нас снисходительно и равнодушно, прочно забыв, что еще год-два назад точно так же, как и мы, покорно писали акварелькой сонного «Гусейна Гуслию», серые директорские натюрморты и, робко озираясь, выпрашивали в уборной у «стареньких» хоть «двадцать процентов» папироски...

Я удивленно глядел на хмурого малого. Он небрежно кивнул головой и спросил хрипло:

— Ты Скворцов?

Я испуганно кивнул головой. Он зевнул и сказал:

— Там, у оврага, какой-то дяхон тебя спрашивал.— И неожиданно уважительно добавил: — Седой такой, важный... С трубкою.

Оставив плеснувшийся стакан, я рванулся к дверям.

— Ошалел, филон! — ругнулся вслед Борька Медведев, дрыгая отдавленной ногой.

Ленивое послеобеденное солнце, качнувшись, выплеснулось из-за лип и золотым кипятком хлестнуло по глазам. И вдруг, словно споткнувшись, я резко остановился. Куда идти-то? К какому оврагу — к тому, за кухнею, глубокому и закрапивленному, где мы курили, прячась в орешнике, самокрутки из липового цвета и выкрошенных окурков? Или к ближнему, мелкому, мягко спускающемуся в заливной луг? Побежал к ближнему... Березы на краю оврага, приняв последнюю силу перезревшего солнца, горели неестественно белым цветом, словно стены старой подмокловской церквушки на закате. Листва их казалась гуще, чем утром, она переливалась едва заметной рябью, словно лесное озеро при ветре...

Но где же он, он, он?.. И вдруг сквозь густую покоричневевшую зелень орешины пробивается ко мне на пыльно-золотом луче солнца такой знакомый, слоистый, задумчивый запах... Отцовский табак! А вот и отец. Он медленно поднимается с травы и, постучав трубкой о низко срезанный пенек, идет мне навстречу. В темной зелени орешин так ярка сияющая голубая седина его крупной головы, так красив цвет загорелых, всегда румяных щек («Меня и в гроб румяным положат»,— шутил он). Радостно и светло блестят его черно-карие молодые глаза. Он добро улыбается, но брови по-всегдашнему сурово и непреклонно сведены на переносье. И я, отвыкший от этих глаз, этих бровей, умеряю бегущий шаг и степенно подхожу к отцу, протягиваю руку... Недоумение и мгновенная обида пробегают по его глазам и дрогнувшим бровям.

— Вроде не поправился. Питанье неважнецкое, видно? А? — тихо, словно виновато, спрашивает он.

— Не, пап, питанье очхор! — бодро опровергаю я.

— Значит, перекупался,— решительно и громко басит он.

Он опускается на траву и приглашает:

— Садись, друг... Устал я. Покуда дойдешь, покуда найдешь...— Он машет рукою.— Далеконько забрались...— И опять тихо предлагает: — Может, домой все-таки хочешь? — И брови его вздрагивают. Но он тотчас же перебивает себя: — Да что дома летом-то делать? Рисовать нечего — все рисовано-разрисовано, елки-палки голые торчат, ворон пугают... Пыль, сушь... Не то, что здесь.— Он мечтательно улыбается и, пыхнув трубкой, обводит взглядом окрестность. Я молчу и невпопад улыбаюсь.

— Да, едва не забыл, вот мама прислала...

И протягивает кулек, завернутый в газетину, и сам разворачивает его.

— Это оладушки, мать пекла... Ладушки, ладушки, ладушки-оладушки.— Он двумя пальцами вытаскивает из свертка сочную серую оладью из картошки и, ловко размахнувшись, шлепает меня по щеке. Я радостно улыбаюсь и смеюсь. Отец, когда развеселится, любит «духариться»: то вдруг запоет какую-нибудь арию, подражая шаляпинским интонациям, то борьбу на полу затеет, то голову мою или Валькину под мышкой у себя зажмет... Мама, бывало, ворчит:

— Уймись! Какой пример детям даешь, воспитатель!

Но сегодня он быстро спохватывается и, сведя широкие черные брови, говорит:

— А это вот груши...— и гордо добавляет: — Собственные.

Груши матово-зеленые, маленькие, тугие, как еловые молодые шишки. Но это же с той самой, раненой!.. И я, не поморщившись, сгрызаю три груши подряд. Отец растроганно улыбается.

— Вкусные? То-то...— И набивает трубку рыжим пушистым табаком.

Он здорово постарел. Глубокие морщины, словно трещины по дереву, протянулись по широкому лбу. Седые виски пожелтели, как у старого деревенского деда, и на темени сквозит в белых волосах темно-коричневая поблескивающая кожа. Он отдувается и с силой отирает пот большим мятым платком.

Крупная зеленая муха ползет по темени, но отец, как усталая лошадь, даже не чувствует ее и только тяжело помахивает головой.

— А как насчет искупнуться, пап? — вдруг предлагаю я.

Отец, очнувшись, сгоняет муху щелчком и потеплевшим голосом спрашивает:

— А не холодно? Вчера ильин день был... Вам-то разрешают?

— Конечно! — беспечно отвечаю я.

Крутой тропинкой, скользкой и рыжей от сосновых игл, спускаемся мы к Оке. Тот берег скошен и весь холмится невысокими спокойными стожками. По раскаленной белой дороге плывет женщина в красной косынке — и словно отодвигает пространство, приближая его вместе с собой к запыленной меже горизонта. Эта белая неторопливая дорога ведет к Серпухову. По ней через час зашагает мой отец, медлительно переваливаясь из стороны в сторону... И я отворачиваюсь от этой раскаленной и жгущей глаза дороги.

Отец неспешно раздевается, аккуратно складывает вещи. Тело у него грузное, белое-белое, только лицо и шея словно кирпичной пылью покрыты. Грудь заросшая, седая, и только около левого соска розовато-белый треугольничек, не заросший волосами.

Отец шумно падает в реку и, фыркая по-лошадиному, мотая головой, плывет на середину. Быстро устав, переворачивается на спину и правит левой рукой к нашему берегу.

А мне хочется плыть с ним на тот берег, куда никто из наших не заплывал, даже директор... Обсохнуть вон под той ветлой и лечь на сене... Отец закурит трубку и начнет что-нибудь рассказывать о маме, о Вальке, о стройке новой своей, где он прорабом... Я буду дышать сеном и дымом и слушать его медлительный, задумчивый, обволакивающий голос. И бороться с желанием попросить у него: «Пап, знаешь, я ведь тоже курю... Не сердишься, пап? Только маме не говори... Мне ведь осенью пятнадцать будет... И, если можешь, дай чуть-чуть табаку... У тебя очень хороший табак...»

— Сплаваем на тот берег! — кричу я отцу.

Но он, трудно дыша, выходит из воды, скользя по расквяканной глине и осоке.

— Пора, друг, пора! — бодро басит он.— На поезд опоздаю.

Я знаю, что идти ему до серпуховского вокзала целых двенадцать километров, и все-таки прошу:

— Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночуешь!

Бог весть, откуда повелась эта непонятная присказка. Может быть, с ямщицких времен? Мчит по засыпающей, выжженной степи молодой, круглолицый, румяный, бровастый, как мой отец, ямщик, поравнялся на дороге с ямщиком-старичком, желтолицым и злоглазым, как, например, наш директор, и, обгоняя, ка-ак присвистнет! И крикнет, обернувшись, разбойно и весело:

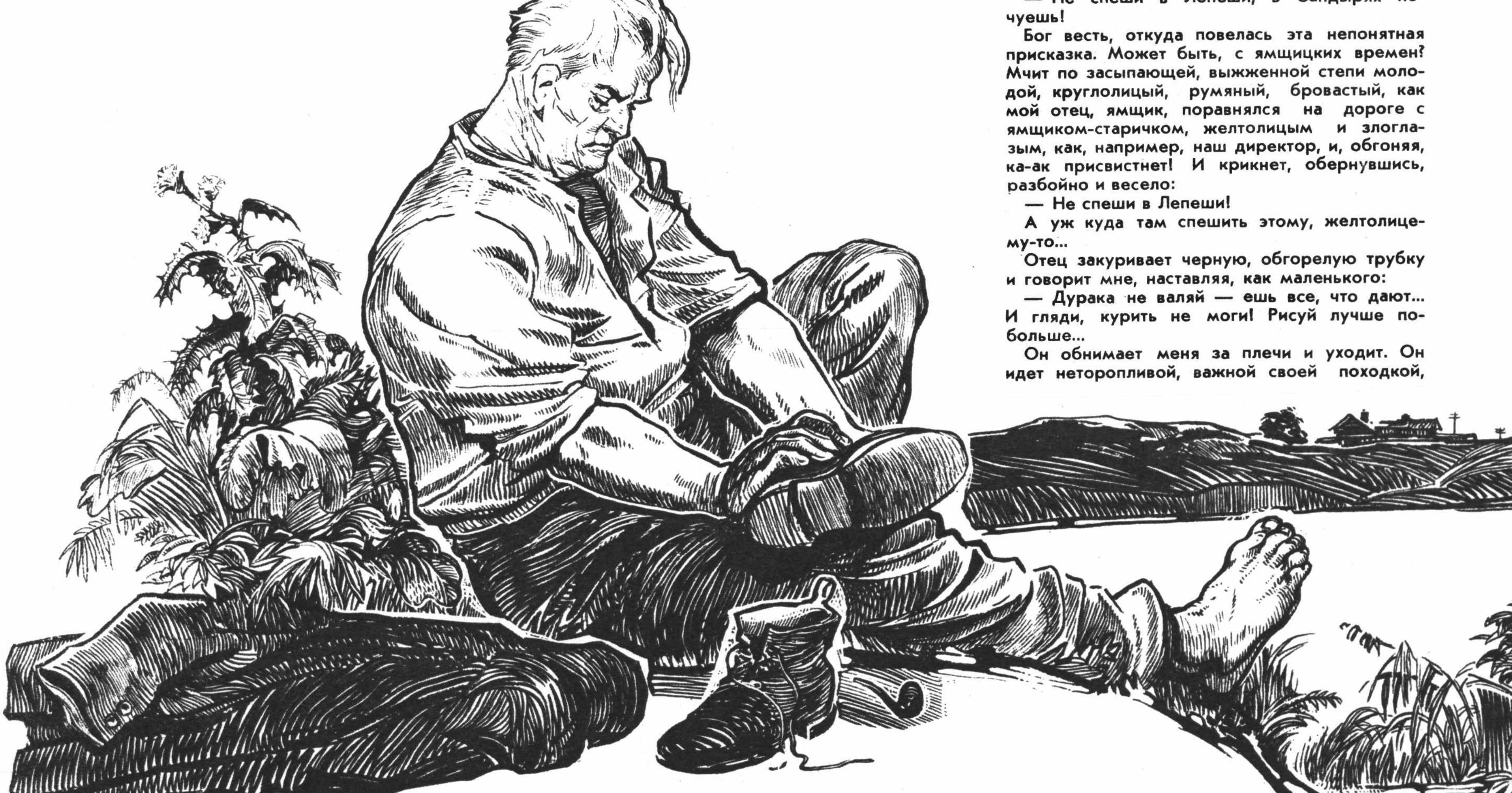
— Не спеши в Лепеши!

А уж куда там спешить этому, желтолицему-то...

Отец закуривает черную, обгорелую трубку и говорит мне, наставляя, как маленького:

— Дурака не валяй — ешь все, что дают... И гляди, курить не моги! Рисуй лучше побольше...

Он обнимает меня за плечи и уходит. Он идет неторопливой, важной своей походкой,



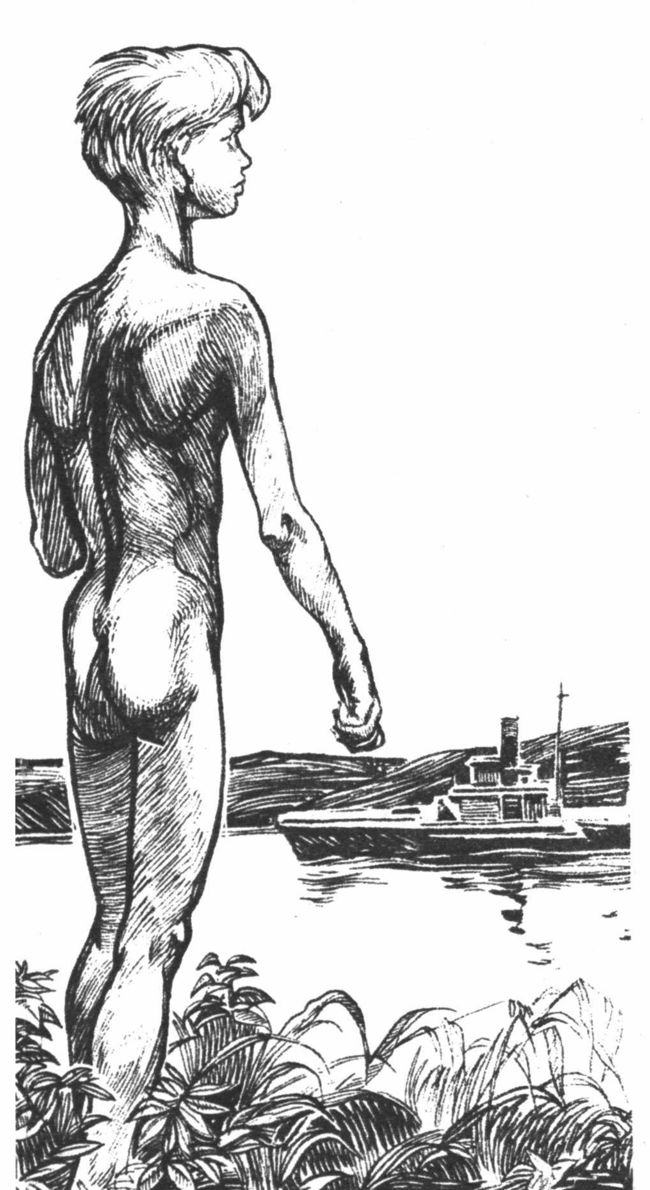
чуть раскачиваясь из стороны в сторону... Пыль белыми взрывчиками выскакивает из-под тяжелых башмаков и оседает на мешковатых темных брюках. Он всегда так ходит — неторопливо, но споро, вдумчиво... Наверное, и на войне, когда они по пятьдесят верст в день махали, так же шел... И тогда там, под Верденом, когда прапорщик усатый скомандовал: «Вперед, ребята! Спасем французов, ребята!» — и тогда он, наверно, не заторопился, не согнул спины, вжав голову в плечи, а, сплюнув густую табачную слюну, прямо и мерно побежал с холма навстречу пыльно мерцающим штыкам, ждущим его.

Отец идет, и закатное солнце широким полотнищем лежит на его выгоревшем пиджаке с белыми соляными обводинами под мышками. Ярко и торжественно сияет седина крутого затылка, красиво и густо горит под солнцем оранжево-коричневая крепкая шея... Солнце жирно мажет пыльною рыжиною луг, дробно вспыхивает в замершей реке, плавит пожелтевшую, прямую, ровно сужающуюся, словно нож, дорогу.

Отец медленно уходит за горизонт.

VIII

Когда его свалила болезнь, мне было двадцать пять, и жил я уже не дома, а со своей семьей, на чужой квартире, за городом. Приезжал я редко, и странное чувство охватывало меня, когда длинный и легкий автобус с голубовато-зелеными верхними стеклами подкатывал к Никитским воротам... Вот старинное, латанное-перелатанное здание «Повторного фильма»... Раньше этот кинотеатр назывался нарядно и величаво — «Унион». Здесь я впервые видел звуковую картину «Остров сокровищ»... Вот серый памятник Тимирязеву. Какой он стал маленький, совсем незаметный, сухонький старичок... А тогда казался высоченным и почему-то грозным, и я думал, что Тимирязев, как и отец, был на войне, может быть, даже генералом... А вот магазин «Три поросенка». Почему так называют? Ах, да: когда-то, еще до моего рождения, на витрине были намалеваны три розовых, весело скалящихся поросенка... А вот Спиридоновка. Бывало, спросят: «Ты где живешь?» «На Спиридоновке». «А, на Спи-ридо-оновке... Хорошая



улица!» И, выскочив с задней площадки, я уже издали из-за приземистого соседнего домишки и измученных старостью деревьев вижу строгий фасад подтянутого дома, увенчанного каменным львом... Старый, очень старый дом; рассказывали, что его какой-то итальянец, полубезумный зодчий, строил. Верно, этому итальянцу скучно стало в последний момент и, ненавидяще глянув на опостылую работу, на серый, чопорный фасад с каменными боковыми лоджиями, он решил швырнуть на крышу оскаленного гранитного льва, терзающего какую-то мелкую тварь... Это не совсем наш, это лишь «полунаш» дом — мы жили во флигеле во дворе и порядком завидовали мальчишкам, обитающим в гулких и темных этажах львиного дома... Я прохожу под мрачной, растрескавшейся аркой... Громко отдаются мои шаги, словно за глухой стенкой тоже идет кто-то, гулко стуча ногами мне в лад... Вот он, наш дом... Зеленоватый, цвета плесени, которая бывает на старых подвальных кирпичах... Он неизлечимо болен дряхлостью, равнодушием к своей судьбе, уродством... Его снесут, обязательно снесут... И сердце мое сжимается остро и сладко, хоть я давно уж не живу в этом, нашем, доме...

Двери открыты, двор пахнет дустом, погребом и листьями майского тополя. И отец стоит на ветхом крылечке — меня ждет. И, увидев, как-то оседает набок, на палку, кривит беспомощно беззубое, улыбающееся лицо и, задыхаясь, кричит мне, тяжело ворочая слова:

— Ты б еще попозже приехал! — и раздраженно стукает палкой о крыльцо.

— Здравствуй, папа! Ты молодцом, ишь, даже щеки подрумянились! — беспечно откликаюсь я и, вспрыгнув на верхнюю ступеньку, обнимаю отца. И он сразу мякнет в моих объятиях, тяжелеет, словно ребенок во сне, и, как маленький, всхлипнув, прижимается к моей груди...

Мы сидим на старой, залосненной кушетке, жалостно взвизгивающей своими расхлябанными пружинами при каждом нашем движении. Отец совсем ослаб, ссутулился... Его зовут к телефону — мама звонит, узнает, приехал ли я... Он тяжело волочит ногу. Левая рука мелко трясется — от волнения. А волнует его теперь почти все: и то, что мать работает, а дочь, непутевая, «халявушка», как он называет ее, прыгает с места на место — работы полегче ищет. Волнуют его и чужие радости, и чужие беды, и старые, надоевшие фильмы, показываемые по телевизору, до спазматических рыданий волнуют его... Курить ему теперь нельзя да и не хочется. «Откурился!» — хрипит он, взмахивая палкой горестно и безразлично... Он давно потерял свой старый крепкий запах, и даже пальцы левой руки (он левша) стали, как у всех, обыкновенного, телесного цвета. Когда-то румяные щеки впали, и черно-карие глаза ушли так глубоко, что даже не видно, блестят они или уже потухли... Он часами сидит на кухне, слушая стук домино и телефонные разговоры соседей, и все мрачнее сдвигает свои еще черные брови. Иногда, слегка пристукнув палкой, словно требуя внимания, начинает вдруг говорить, хрипло и неуклюже раскладывая слова:

— Вот, значит... Сидим мы в окопах... А жрать хочется! И вдруг присылают французы гостинец. Консервы. Да. А мы не евши сидим вторую неделю. Под Верденом... Да... Дождь идет — мы по шейку в воде... Гостинец привезли. Мы, конечно, кинулись... Смотрим — а на банке лягушка зеленая нарисована. Большое этакое жабинё... Консервы-то из лягушек... вот так гостинец!

И он, захлебываясь, словно всхлипывая, смеется и стукает одобрительно палкой. Толстая Марья Никифоровна лениво выпускает голубое папиросное облачко и вежливо подхохатывает. Щелкнув фишкою домино, советует:

— Шли бы вы, Андрей Дмитрич, в комнату... Воздух-то здесь неполезный для вас... Курим мы, да и газ вытекает — некому сходить заявить, все занятые очень стали.— И, внезапно рассердившись, кричит другой соседке, Нине Ивановне, толстой молчаливой женщине: — Ваш ход, мадам, не зевайте!

Отец, хмурясь, протяжно скрипнув табуретом, идет в темный конец коридора, идет медленно, припадая на палку и сильно раскачиваясь из стороны в сторону...

Мы пьем чай. Мамы все еще нет — я, видно, не дождусь ее. Отец заботливо подливает мне чаю, подвигает поближе ванильные сухари и уговаривает:

— Да пей, пей же... А на часы не поглядывай...— И добавляет наставительно: — Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночуешь!

И, кряхтя, треплет меня дрожащей своей рукой за плечо.

Вскоре он умер.

Прошло несколько лет. Я помнил его отчетливо, но помнил не прежним, спокойным и сильным, а старым, оседающим набок, больным.

И вдруг я увидел его прежним. Увидел на чужой, не русской земле. Я жил здесь уже три недели, жил беззаботно и празднично. Целыми днями слонялся по музеям и храмам, купался в море, подставлял всего себя устойчивому, щедрому и жадному солнцу. Страна была прелестна: древние города карабкались по скалам и, словно причудливые каменные сады, громоздились и висли над пропастями. Добротные, блистающие рестораны и пляжи старательно стремились к оригинальности — и потому казались обреченно банальными. Люди были просты, радушны и работящи. Язык этих смуглых людей был грубовато-певуч, стремителен и напорист: они говорили, словно скакали верхом или мчались в пролетке, тарахтящей всеми своими колесами по обрывистой мостовой... Горы вокруг города, где я теперь жил, были не особо высоки, но очень зелены и так напичканы птицами, что казалось, поет сама трава, само небо, цветы и деревья. И пахло здесь прекрасно — похоже на русский лес, но как-то по-своему: наверно, это горы добавляли к общему благоуханию свой таинственный, трудно определимый аромат — торжественный и немного надменный.

Здесь хорошо отдыхалось — и забывалось. Уезжать домой не хотелось.

Я спал в шумной, веселой гостинице с видом на горы, спал усталый, счастливый, забывающий.

И вот, должно быть, уже на рассвете, я увидел отца. Я босиком шел с ним рядом. Шел и узнавал сосновые перелески и ясные березовые полянки, узнавал одуванчиковый луг, наше небо, наш воздух. Лес еще густой, довоенный... Вот дом Агриппины Ивановны, доброй коричневоликой старушки, очень уважающей отца... Как странно, что она опять живая... А вот какие-то пышнозеленые кусты — бузина, кажется. За ними и должна быть наша калитка. Сейчас отец осторожно, чтобы не хлестнуть меня по лицу, отведет эту гибкую зелень, и мы войдем в калитку на наш двор... Но мы проходим мимо.

Утро тихое, без ветра, и странно, что ничем не пахнет. Летают большие бесшумные стрекозы, и голубой воздух, как ленивая вода, вздрагивает под их крыльями... Отец совсем седой, но крепок, шагает широко и неспешно, слегка вразвалку. Изредка он сверху смотрит на меня и улыбается. Мне очень хорошо. Но почему мы прошли мимо нашей калитки? Отец знает, почему, значит, так надо. Еще вернемся, еще успеем.

Он, наверное, слышит мои мысли и снова улыбается: мол, не спеши...

Я чувствую тепло его большой белой руки, обнявшей мою шею. Прижимаюсь к нему, слышу его большое и тяжелое сердце, и мое легкое сердце стучит быстро-быстро, словно гонится за кем-то... Задыхаюсь и говорю отцу, говорю торопливо, точно вот-вот меня оборвет кто-то:

— Папа, пап, прости меня... Папа, я тебя очень, очень люблю. Очень-очень... Раньше я не говорил. А ты не спрашивал. Ты не спрашивал и не знал. И я не знал, да, я сам не знал... Очень, очень! Ты слышишь меня? Слышишь?

Он большой горячей ладонью гладит мои плечи, мою шею, голову и молчит, замедляя шаг. И я смолкаю — понимаю, что не услышит он меня и я его не услышу... И яркие лучи бьют меня по глазам. И я всем телом и сердцем своим снова слышу этот крепкий, бодрый, золотой запах — запах его табака, запах того, детского солнца, запах родины.





СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Ванда БЕЛЕЦКАЯ

Фото Г. КОПОСОВА.

Северное сияние мне увидеть так и не удалось. Во время моей командировки в Норильске был мороз, когда воздух похрустывает, как лед, и кажется таким плотным, что его можно резать на куски. Была пурга, когда начинаешь ясно ощущать, что у тебя есть лоб, щеки, нос, руки. Я видела, как ветер подхватил и мчал по улице девушку и парня, как парень пытался помочь девушке удержаться на ногах, а она, обессиленная борьбой с ветром, говорила: «Я лучше сяду на тротуар, я лучше сяду!» Был туман, когда на мосту над озером Долгим смутно заметны лишь красные фонари. А само озеро кажется гигантским клокочущим котлом, над которым поднимаются огромные клубы пара и, не зная, взвиться или упасть, застывают над городом.

А вот северного сияния не было в этот зимний месяц.

— Оно показывается только влюбленным, — шутила Люда Дробная, молоденькая продавщица магазина «Лакомка».

Но все-таки я увидела сияние Норильска — сияние, созданное людьми.

«Босяки»

Председатель художественного совета города Борис Яковлевич Розен рассказывал мне такой случай. Летом приезжал в Норильск один пожилой профессор. Ему гостеприимно показывали город. В центре — два эффектных полукруга Октябрьской и Гвардейской площадей, серые, высокие, со строгими лепными украшениями дома, холодные, сдержанные и величественные. Профессор был в восторге: «Как в родном Ленинграде!» Провезли его по прямому, как стрела, Ленинскому проспекту и остановились на Комсомольской улице, окраине города. И тут он увидел другие дома, яркие, солнечные, стоящие в веселом и красивом беспорядке, в котором чувствовалась, однако, какая-то внутренняя гармония. Дома обступили квадраты дворов, кое-где уже росли тоненькие, как былинки, прутики саженцев. Фундаменты еще не успели заделать, дома стояли на сваях, «курьих ножках», и поэтому казались еще более озорными. И так ошарашивала внутренняя раскованность планировки после холодной сдержанности центра, так смелы и неожиданны были сочетания красок, что профессор удивленно приподнял брови.

«А это проектировали наши молодые архитекторы, а раскрашивали сами строители, тоже молодые ребята»,— сказали ему.

И тут профессор расхохотался. И неожиданно довольно произнес: «Босяки!» В это «босяки» старый профессор вложил и нежность, и удовлетворение, и признание. В Заполярье на вечной мерзлоте строился новый, молодой, современный город.

— И все-таки не до конца еще выработан стиль Норильска, не получил он еще вида северного города,— взволнованно говорила мне главный архитектор Лариса Григорьевна Назарова. Сама Лариса Григорьевна синеглазая, молодая, яркая. Когда она волнуется, на щеках загорается румянец.

— Наш город находится в специфических условиях: вечная мерзлота, полярная ночь, страшные ветры, которых не знает, скажем, морозная Якутия, почти полное отсутствие деревьев.— рас-

Норильск. Город за Полярным кругом. Город, построенный на вечной мерзлоте. В чем его сила и своеобразие?

Может быть, это никогда не замолкающая, бурлящая жизнь на улицах города и на комбинате? Или ульи, стоящие в теплицах? А может, рукотворное северное сияние, освещающее город, гигантский бенгальский огонь искр раскаленного металла, который выпускает из печи Михаил Тимофеевич Гринько? Цветущие растения за покрытыми морозными узорами окнами магазинов и кафетериев? Или это захватывающие дух контрасты, когда вдруг после холода полярной ночи видишь сверкающий кафель, изумрудную воду бассейна, где со счастливым визгом плещутся ребята? А может, дети, идущие со скрипками сквозь пургу в музыкальную школу?

В чем же? Наверное, во всем вместе...



сказывает она.— Вот мы и стараемся планировать новые районы, учитывая направление ветров, защищаем дворы, прячем в центр квартала школы и детские сады. А здания, вероятно, надо раскрашивать так, чтобы нежные и веселые цвета восполняли недостаток зелени на улице, радовали глаз, нарушали зимнее однообразие тундры.

В комнате, где мы беседуем, беспорядок переезда. Чертежи и папки лежат на столах, стульях, на полу. Я уже знаю — на Ленинском проспекте построено новое здание для «хозяев города». Туда начали переезжать горисполком, горкомы КПСС и комсомола. Получат в нем помещение и архитекторы, которые его строили.

Я была там в день, когда дом принимала комиссия. Яков Карлович Трушиньш, молодой архитектор, но уже старый норильчанин (одиннадцать лет назад приехал, после окончания архитектурного института), отчаянно волновался. Но волнение оказалось напрасным: красивое, современное светлое здание, сделанное из стекла и цветного пластика, не могло не вызвать восхищения.

— А какие еще новые здания скоро появятся в городе? — спрашиваю я архитекторов.

Лариса Григорьевна Назарова и Яков Карлович Трушиньш показывают мне макеты.

Городской драматический театр. Простота и спокойное благородство линий. Пилоны из темного камня местных пород, огромные пролеты зеркальных окон. Светлая высокая галерея. В ней проектировщики наметили создать зимний сад. И, наверное, будет тут и большой аквариум. Нигде не встречала я такой «повальной», если можно так сказать, трогательной любви к рыбам, птицам, цветам, как в этом суровом городе за Полярным кругом. Исполкому пришлось даже обязать один из цехов завода специально выпускать аквариумы: каждая семья хотела их приобрести.

Детский сад и ясли на 280 мест. В центре дворик под куполом из светлого прозрачного пластика. Во дворе, за экраном, отражающим инфракрасные лучи, плескательный бассейн, зеленый сад с собственным солнцем — лампами ультрафиолета. В таком дворе малыши смогут вдоволь играть и бегать в мороз и пургу.

Удобство людей, забота о детях — основное, что учитывают архитекторы при планировании новых районов.

— Не надо удивляться и делать скидок на Заполярье,— говорят мне.— Тут суровая природа, тут трудные, да, трудные, и очень, условия жизни. И поэтому быт должен быть особенно удобен и красив. И вы знаете, что интересно? Мы подсчитали, что, скажем, строительство домов с крытыми дворами по нашим проектам обойдется лишь на 3—5 процентов дороже. Но сколько это дает для здоровья живущих тут людей, особенно детишек!

Планов у молодых архитекторов Норильска очень много. И споров, как строить новый город, тоже много. Например, как вывести город к озеру Долгому, чтобы оно красиво и органично вписалось в ансамбль? На берегу озера надо сделать пляж (в единственный летний месяц тут негде яблоку упасть), разбить парк.

А может быть, стоит, как считают некоторые архитекторы, изменить кое-что и в центре города? Может быть... Но не будем излагать все спорные проблемы. Они достаточно мучают архитекторов.

+1 500 и —40

В горячем плавильном цехе температура воздуха зимой минус 40. Спереди обжигает (температура штейна плюс 1 500 градусов!), а сзади подмораживает. Не соскучишься, никакого тебе однообразия.

Михаил Тимофеевич Гринько, большой, немногословный, стоит на лесенке, курит, ждет, когда сварится металл. Он седой, в широкополой шляпе, с крупными, мужественными чертами смуглого лица. Пожалуй, сейчас он похож на старого моряка, каких обычно рисуют художники к рассказам Александра Грина. Но вот он откладывает сигарету, берет ломик и неторопливо идет к печи. И гриновский моряк исчезает, уступая место металлургу.

Всего три человека осталось здесь из тех комсомольцев, которые приехали в Заполярье в тридцать девятом вместе с Гринько. Город только начал строиться. Не было тогда ни Ленинского проспекта, ни бассейна, ни самого медеплавильного завода. На Рабочей и Горной улицах стояло всего несколько деревянных балков, зимой заваленных снегом по крыши.

Михаилу Гринько было восемнадцать, когда он приехал из Ростова, а его сестренке Маше — двадцать, но он, как мужчина и хозяин, считал себя старшим и ответственным за судьбу сестры. Это теперь живет он в отдельной квартире со всеми удобствами, с ванной и горячей водой, с электрической печью, с духовым шкафом на кухне. Сначала поселился он в бараке, где дуло из каждой щели, а когда топили времянку, с потолка начинал лить дождь: это оттаивали сосульки.

Маша скоро вышла замуж и ушла от брата. Обзавелся семьей и он сам, родились дети. Дочь Вера оканчивает школу, мечтает стать химиком, а младший сын увлекся плаванием и после уроков буквально не вылезает из бассейна.

— Нашел где чемпионом становиться — в Заполярье,— шутит отец.— Лед только и снег, а он — плавание.

Я возражаю. Ведь был случай, когда первенство среди девушек-пловчих по РСФСР заняла норильская школьница Наташа Фомина, первый мастер Заполярья. Она выучилась плавать тут, в бассейне.

— Слышал, — снисходительно соглашается Михаил Тимофеевич.

Совсем недавно человек сто металлургов собрались в банкетном зале ресторана «Таймыр», чтобы отпраздновать двадцатипятилетие работы Гринько на заводе. Он сидел во главе стола, как говорится, при параде, в новом темно-синем костюме, на лацкане которого сияли ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Были тосты, речи, играл оркестр, пели песни под баян.

Гринько не произносил ответной речи. Он только сказал друзьям: «Я рабочий, я варю металл».

Потом он шел со своей женой по залитому ночными огнями проспекту. Под ногами поскрипывал снег. С Долгого поднимался морозный туман и окутывал город. А Михаил Тимофеевич вспоминал маленький дом отдыха металлургов на Енисее в Таежном. Там было очень много малины. У пристани стояли лодки и светили две луны: в небе, засыпанном звездами, и в ночной реке. Там он подружился с девушкой Галиной, Галкой, идущей теперь рядом с ним...

«Лакомка»

— Я болтушка, да? — спросила Люда Дробная, которая уверяла, что северное сияние показывается только влюбленным. И, не дождавшись моего ответа, продолжала быстро-быстро говорить:

— Приехала я к тетке в Норильск. У меня тетка хорошая, очень хорошая, но все-таки, знаете, как жить не у мамы, а у тетки. Скорее надо на работу устраиваться. Пришла в горком комсомола. Мне там говорят: «Продавщицы нужны». Я удивилась: разве продавщицы — самая важная профессия для Заполярья? А мне говорят: «Не самая, но одна из самых. Очень важны для нашего города хорошие магазины и хорошие продавщицы. Важнее, чем на материке». «А почему,— я спрашиваю,— вы думаете, что я буду хорошей продавщицей?» А мне говорят: "У вас улыбка хорошая. Знаете, как важно, когда тебя во время пурги встречают улыбкой?» Почему-то именно это меня убедило. Я пошла на курсы — и вот продавщица.

Она забавно развела руками и улыбнулась. Да, улыбка у нее действительно прелестная: доверчивая, открытая. То ли от этой улыбки, то ли от обстановки в магазине, теплой, заботливой, просто невозможно не улыбнуться в ответ.

Вместо традиционного прилавка в «Лакомке» цветные столики из пластика. Над ними современные светильники. На окнах в ярких кашпо много цветов. На красиво оформленных стеллажах конфеты всех сортов, шоколад, яблоки в плетеных вазах, огромное количество тортов, из которых особенно выделяется гордость фирмы — торт «Лакомка». Продавщицы одеты, наверное, по эскизу художника, в зеленые джемперы, белые сарафаны и высокие элегантные шапочки.

Я вспомнила предупреждение молодых архитекторов — не делать скидок на Заполярье. Какие уж тут скидки!

...Одиннадцать часов вечера. Магазин закончил работу. Мы с Людой идем по Ленинскому проспекту.

— Вот тут я первый раз в жизни увидела северное сияние,— говорит Люда.— Мы тогда с Борей — это мой муж — еще только дружили. Помню, пошли на каток (тогда еще не было этого красивого стадиона). Был просто залитый каток и деревянная будочка, где стояла электрическая плитка с толстой такой красной спиралью. Ох, и хорошо было около нее греть ноги! А потом пошли погулять по улицам. Намерзлись страшно. И вдруг — ой! Будто кто горстями разбросал по небу лиловые, розовые, зеленоватые блики. Красота какая! Холодно, воздух как остановился, а бликов все больше и больше: и спереди и сбоку — везде. Позже я тоже видела северное сияние. Оно обычно зеленым бывает. А тогда и розовое и лиловое было.

Люда закидывает голову так, что чуть не сваливается ушанка. Наверное, ей кажется, что она опять видит то самое северное сияние. Она замолкает и даже не прибавляет свое обычное: «Я болтушка, да?»

Северное сияние

Перед самым отъездом мне удалось попрощаться со всем городом сразу с вертолета. Из бескрайней, покрытой снегом тундры вдруг выросли цветные многоэтажные дома, ближе к центру они становились строже и величественнее, промелькнул купол бассейна, дымящееся озеро Долгое, черное блюдо катка. А на окраине — трубы заводов и застывшие облака.

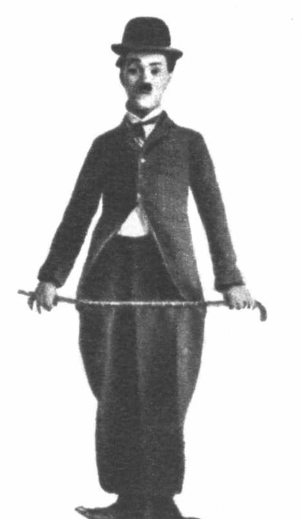
Мне жаль было расставаться с раскинувшимся внизу городом. Я узнавала дома, где жили люди, еще месяц назад мне незнакомые. Вот светятся огни гостиницы, где гостит сейчас норильчанин № 1 Николай Николаевич Урванцев. Это ему обязан Норильск тем, что существует. Больше тридцати лет назад нашел тут геолог Урванцев богатейшую руду, на которой стал строиться огромный горно-металлургический комбинат, давший городу жизнь. Вот на Севастопольской вечерняя школа рабочей молодежи № 2. Тут под руководством старого учителя коммуниста Андрея Федоровича Эбингера металлурги и токари изучают немецкий язык по новому методу — во время сна. Три раза в неделю они приходят вечером в школу, занимаются и, надев наушники, ложатся спать в одном из классов, оборудованных под спальню. В определенные часы включается магнитофон, произносящий немецкий текст. А утром рабочие встают и идут на смену. Вот здание городской музыкальной школы, где учатся более семисот человек. Днем в школе звенят детские голоса, а вечером сюда приходят взрослые — инженеры, металлурги, строители.

В этом доме на Ленинском проспекте живет удивительный человек с трудной и героической судьбой — Магомет Мурсалович Куриев, начальник Промстроя. «Морозоустойчивый чеченец»,— в шутку зовут его друзья. Он начал строить Норильск еще тридцать лет назад, сначала как заключенный, потом восстановленный во всех правах, восстановленный в партии. И в годы беззаконий культа личности Магомет Мурсалович не растерял ни веры и стойкости коммуниста, ни широты души, ни теплоты и нежности к людям.

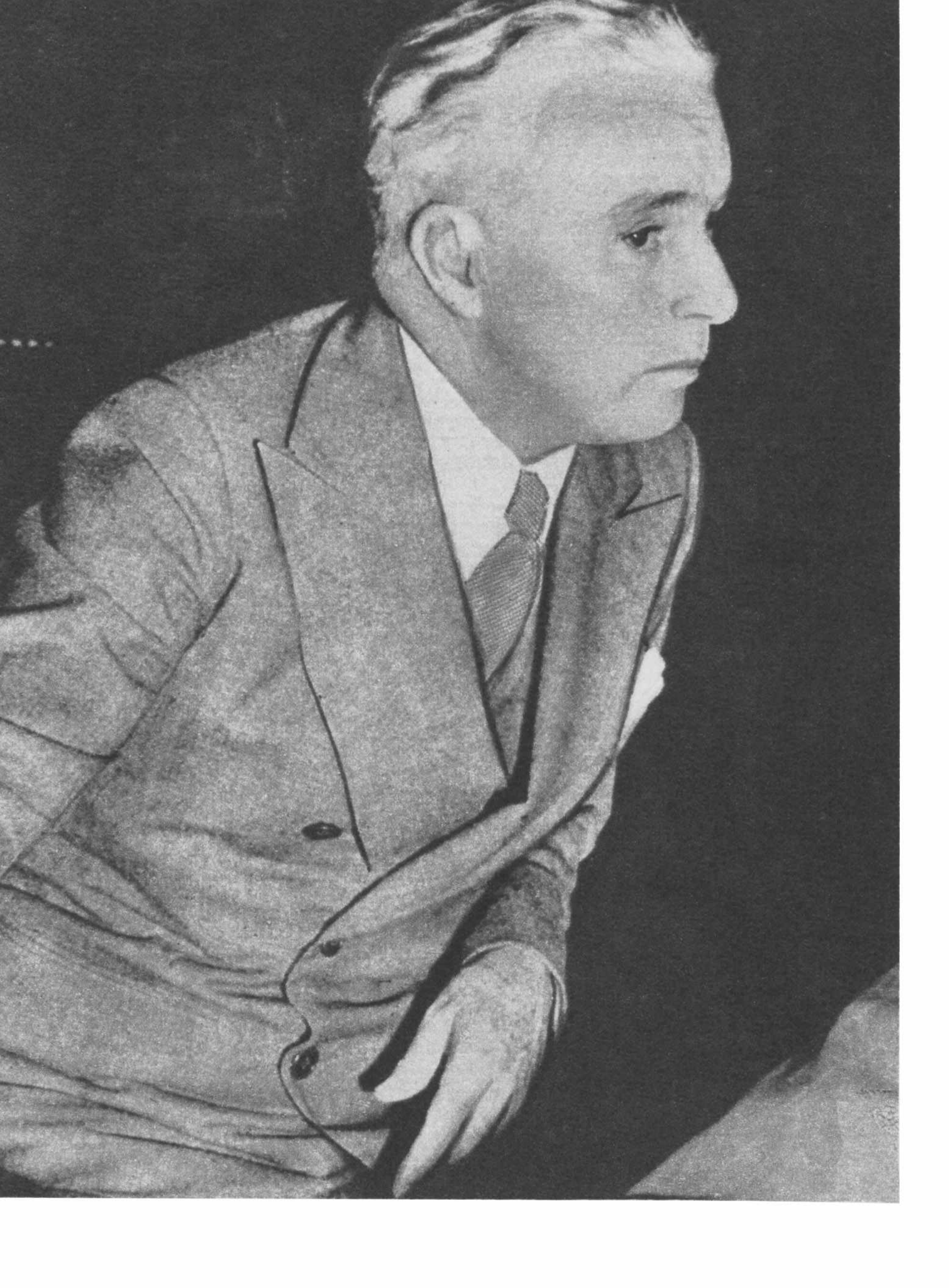
...А северное сияние я все-таки видела. Почти каждый час над городом поднимается зарево. Если дует ветер, оно розовое и туманное и окутывает весь город. А если тихо, то оно огромной огненной стрелой смело вонзается в небо и долго неподвижно стоит в плотном морозном воздухе. Это сливают в отвал шлак.

К горе подходит, отдуваясь и фыркая, паровоз, маленький, скромный работяга. Опрокидывается ковш — и вдруг выплескиваются расплавленные солнца. Огненная лава шипит, пенится, съедает морозный снег, розовые облака поднимаются в воздух, и над городом встает северное сияние, рукотворное сияние Норильска...

Чарли ЧАПЛИН







Во время нашего пребывания в Париже меня избрали почетным членом французского Общества драматургов и театральных композиторов. Я был извещен об этом очень любезным письмом президента Общества. Вот некоторые строки из этого письма:

«Когда мы смотрели «Огни рампы», мы смеялись, и это был смех от всего сердца; но мы и плакали тоже, и это были настоящие слезы — ваши слезы. Таков ваш драгоценный подарок нам...

Легко себе представить, если бы даже мы не знали этого, какую цену вы заплатили за ваш чудесный дар — вызывать у людей смех и тут же внезапно слезы. Можно вообразить, вернее, почувствовать, через какие испытания должны были пройти вы сами, чтобы суметь воплотить с портретной выразительностью все эти маленькие жизненные дела, которые всегда глубоко трогают и которые взяты вами из вашего собственного прошлого.

Ибо у вас хорошая память. Вы верны воспоминаниям детства. Вы ничего не забыли из его печалей и утрат; и вами всегда руководило желание избавить других от обид, которые претерпели вы сами, или по крайней мере вселить в людей надежду на это. Вы никогда не изменяли вашей грустной юности, и слава оказалась бессильной отделить вас от этого прошлого, что, увы, так нередко случается.

Верность ранним переживаниям — это, пожалуй, самая большая ваша заслуга, самое ценное из ваших качеств, и, наконец, в этом лежит причина того, что такие большие массы людей восхищаются вами. Они всегда откликаются на самые тонкие нюансы вашей игры. Вы всегда словно связаны незримыми нитями с сердцами других. Да и может ли быть что-либо более гармоничное, чем «сотрудничество» в одном художнике драматурга, актера и режиссера, отдающих свой объединенный талант на службу всему гуманному и доброму...»

После премьеры «Огней рампы» в Париже и Риме мы вернулись в Лондон, где провели несколько недель. Мне надо было найти постоянное жилье для семьи. Один из друзей посоветовал поселиться в Швейцарии. Правда, мне лично улыбалось прожить остаток дней в Лондоне, но возникли сомнения, будет ли его климат полезен для детей...

И вот в довольно меланхолическом настроении укладываем пожитки и с четырьмя детьми прибываем в Швейцарию. На время останавливаемся в Лозанне, в отеле «Бо Риваж», против озера. Была осень, довольно унылая, только горы привлекали своей красотой.

Месяца четыре мы подыскивали подходящий дом. Уна ждала в это время пятого ребенка и решительно заявила, что не хочет после родов возвращаться в отель. Это обстоятельство заставило меня торопиться и рыскать повсюду, пока наконец я не набрел на Мануар де Бан, в деревне Корзье, расположенной чуть повыше городка Веве. К нашему удивлению, мы обнаружили, что при доме имеется тридцать семь акров земли, в том числе фруктовый сад, где росли крупные черные вишни, чудесные зеленые сливы, яблоки, груши; был там и огород, доставлявший клубнику, прекрасную спаржу, кукурузу,— мы потом в летние месяцы совершали туда частые паломничества. Перед террасой дома лежала лужайка в пять акров с величественными деревьями, словно обрамлявшими отдаленное озеро и горы.

Нас несколько отпугивало все это великолепие, мы спрашивали себя, соответствует ли оно нашим доходам. Но когда владелец назвал сумму, мы увидели, что она укладывается в рамки нашего бюджета...

* * *

Итак, мы поселились в деревне Корзье с населением в тысячу триста пятьдесят человек. Прошел целый год, пока мы освоились. Дети поступили в сельскую школу. Для них это было нелегкое дело — вдруг начать учение на французском языке, и нас немало беспокоило, как это на них отзовется. Но очень скоро они уже бегло болтали по-французски, и было трогательно наблюдать, как легко они приспособляются к швейцарскому образу жизни...

Мы начали освобождаться от последних уз, связывавших нас с Соединенными Штатами. Это заняло немало времени. Я отправился к американскому консулу, вручил ему мое разрешение на обратный въезд и сказал, что не собираюсь больше жить в Америке.

— Вы решили не возвращаться, Чарли? — спросил он.

— Нет,— ответил я почти мирным тоном.— Я уже староват, с меня хватит всей этой дребедени.

Он никак не реагировал на это, только сказал:

— Что ж, вы всегда сможете вернуться по обычной визе, если пожелаете.

Улыбнувшись, я покачал головой.

— Я решил поселиться в Швейцарии.

Мы пожали друг другу руки и на этом расстались.

Вслед за тем Уна решила отказаться от американского гражданства. Однажды, когда мы поехали в Лондон, она заявила об этом посольству США. Там сказали, что ей придется выполнить некоторые формальности, и это займет около часа.

— Что за чепуха! — сказал я Уне.— Это просто смешно, зачем им столько времени? Я пойду с тобой.

Когда мы пришли в посольство, на меня нахлынули воспоминания об оскорблениях и клевете, которые я испытал еще недавно. Я был похож на воздушный шар, готовый вот-вот лопнуть. Я спросил повышенным тоном, где находится отдел, ведающий вопросами

Окончание. См. «Огонек» №№ 50—52, 1964 г. и №№ 1, 2, 1965 г.

иммиграции. Это смутило Уну. Но открылась дверь, появился человек лет под шестьдесят и сказал:

— Алло, Чарли, пожалуйста, войдите с вашей супругой сюда.

Он, видимо, уловил мое настроение и поспешил приступить к делу.

— Американец, отказывающийся от своего гражданства,— сказал он,— должен отдавать себе полный отчет в том, что он делает, и находиться в здравом уме. Вот почему введена процедура опроса. Это делается в интересах заявителя.

Я ничего не мог возразить.

— Я видел вас в Денвере еще в 1911 году, в старом театре «Императрица»,— сказал он, глядя на меня с упреком.

Это заставило меня немного оттаять, и мы поговорили о добрых старых временах.

Когда это последнее испытание было позади, последний документ подписан и мы любезно прощались, мне стало даже немножко грустно: так я ничего и не почувствовал в эти минуты...

* * *

В одну из поездок в Лондон мы обедали вдвоем с Уной в ресторане отеля «Савой». Когда мы уже расправлялись с десертом, возле нас неожиданно вырос Уинстон Черчилль. Он вместе с леди Черчилль подошел прямо к нашему столу. Я не встречался с сэром Уинстоном с 1931 года; но два года назад, после премьеры «Огней рампы» в Лондоне, мне сообщили, что он хотел бы просмотреть картину у себя дома. Разумеется, это меня только обрадовало. Через несколько дней он прислал мне благодарственное письмо, в котором говорил, что испытал большое удовольствие от фильма.

И вот теперь Черчилль стоял перед нашим столом и смотрел на меня в упор.

— Ну-с? — сказал он.

В этом «ну-с?» я уловил нотку неодобрения.

Я поспешно вскочил, улыбаясь во весь рот, и представил Уну, которая уже собиралась уходить. Когда она ушла, я попросил разрешения выпить кофе вместе с ними, и мы отправились к их столу... Но у меня все время было чувство, что сэр Уинстон имеет против меня зуб.

Разговор зашел об «Огнях рампы». Черчилль наконец сказал:

— Я послал вам два года назад письмо, в котором расхвалил эту картину. Вы получили мое письмо?

— О, разумеется! — воскликнул я в тоне искреннего восторга.

— Тогда почему же вы не ответили на него?

— Я... я не думал, что оно требует ответа и...— начал я извиняться.

Но его не так-то легко было провести.

— Гм! — проворчал он.— А я подумал, что вы на меня за что-то сердиты.

— Нет, нет! Конечно же, нет! — лепетал я.

— Во всяком случае,— сказал он, отпуская меня,— меня всегда радовали ваши фильмы...

...Мне вспомнилась предыдущая встреча с Черчиллем в 1931 году. Это был день, когда впервые показывали в Лондоне другую мою картину — «Огни большого города». Дождь лил как из ведра, но доброжелательно настроенная толпа окружала кинотеатр, и картина прошла хорошо. Я сидел в бельэтаже рядом с Бернардом Шоу, и это заставляло окружающих много смеяться. Нам предложили встать вместе и раскланяться. Это вызвало новый взрыв смеха.

Черчилль был на премьере, а потом пришел на ужин, устроенный для некоторых гостей. Там он произнес маленькую речь, в которой сказал, что предлагает тост за человека, который начинал мальчишкой из бедных кварталов и завоевал любовь людей во всем мире,— за Чарли Чаплина! Этот тост был для меня полной неожиданностью и, что называется, выбил меня из седла, особенно после того, как Черчилль начал свою речь словами «милорды, леди и джентльмены». Согласно этикету, я должен был ответить в том же духе. «Милорды, леди и джентльмены! — начал я.— Мой друг, п о к о й н ы й министр финансов, сказал...» Я не мог продолжать: раздался дружный хохот. И тут я услышал гулкий голос: «Покойный! Покойный! Мне это нравится — покойный!» Разумеется, это сказал Черчилль. Опомнившись, я стал оправдываться: «Видите ли, мне показалось неловким сказать — б ы в ш и й министр финансов...»

* * *

Вскоре после того, как я вернулся домой из Лондона, я получил письмо от Джавахарлала Неру... Он приехал в Швейцарию на ежегодную встречу послов в Люцерне и писал мне, что был бы рад, если бы я приехал туда и провел с ним вечер, а на следующий день он бы отвез меня домой, в Мануар де Бан. Я отправился в Люцерн.

Я был несколько удивлен, когда меня встретил человек невысокого роста, как и я сам. С ним была его дочь, Индира Ганди, очаровательная, спокойная женщина. Неру сразу произвел на меня впечатление человека строгого, восприимчивого, с живым и быстро анализирующим явления умом. Вначале Неру был несколько сдержан, но это прошло, когда мы поехали вместе из Люцерна в Мануар де Бан, куда я пригласил его на завтрак. Дочь его ехала в другой машине — она направлялась прямо в Женеву. По дороге у нас завязался интересный разговор. Я спросил Неру, в каком идейном направлении развивается сейчас Индия. Он сказал:

— Каково бы ни было это идейное направление, развитие идет в сторону улучшения положения индийского народа.

Он добавил, что они уже приступили к осуществлению пятилетнего плана. Всю дорогу он рассказывал и делал это блестяще, а шофер его меж тем вел машину на скорости не менее семидесяти миль в час по узким дорогам над пропастью, с частыми крутыми поворотами. Неру подробно объяснял мне политику Индии, но, должен сознаться, я упустил многое из его слов: я был слишком поглощен дорогой и цеплялся за сиденье. Тормоза то и дело скрежетали, нас бросало вперед, но Неру спокойно продолжал говорить. Слава богу, наступила передышка — машина наконец остановилась на несколько минут: дочь Неру здесь покидала нас. Он сразу превратился в любящего и заботливого отца, нежно обнял ее и сказал:

— Береги себя!

Эти слова больше подходили бы дочери, заботящейся об отце...

* * *

Друзья часто спрашивали меня: не чувствую ли я, что мне иногда недостает Америки, Нью-Йорка? Честно говорю: нет. Америка изменилась, изменился и Нью-Йорк. Огромный размах индустриального развития, прессы, телевидения, рекламы — все это полностью разобщило меня с американским образом жизни. Меня привлекает другое: простое личное ощущение жизни,— а не эти оглушительно шумные авеню и башнеподобные небоскребы, которые вечно напоминают о «большом бизнесе» и его чванливом самодовольстве...

* * *

...Это было еще в Нью-Йорке. Ко мне явились торжественно со шляпами в руках джентльмены из компании «Фэрст Нэшнэл». Один из вице-президентов компании, мистер Гордон, владелец множества кинотеатров в западных штатах, сказал:

— Вы хотите за вашего «Малыша» полтора миллиона долларов, а мы даже не видели картины.

Я ответил, что они правы, и устроил для них просмотр.

Это был мрачный вечер. Двадцать пять дельцов — прокатчики из «Фэрст Нэшнэл» длинной цепочкой входили в просмотровый зал, словно следователи на допрос преступника,— сборище бесстыдных людей, скептических, бесчувственных.

Началась картина. На вступительном титре было написано: «Фильм со смехом и, возможно, со слезой».

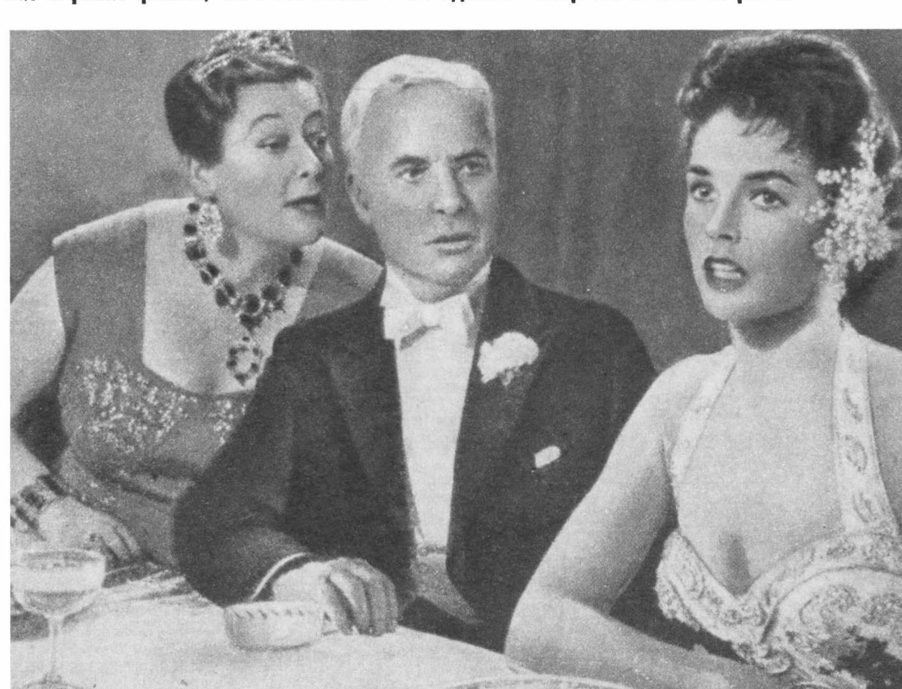
— Неплохо,— сказал мистер Гордон, как бы демонстрируя свое великодушие.

После предыдущих просмотров у меня прибавилось уверенности. Но вот прошла половина фильма, и эта уверенность рассеялась: в тех местах, где зрители начинали безудержно хохотать, я услышал сейчас два-три смешка... Когда все кончилось и зажегся свет, мои гости некоторое время молчали. Потом они стали потягиваться, толковать о совершенно посторонних вещах.

Последний фильм, поставленный мною в США: «Огни рампы»



...и первый фильм, поставленный в Лондоне: «Король в Нью-Йорке».



— Где вы сегодня обедаете, Гарри?

— Я везу жену в Плаза, а потом мы решили посмотреть ревю Зигфельда.

— Я слыхал, что это здорово.

— Может быть, составите компанию?

— Нет, я вечером уезжаю. Спешу домой, сын получает ученую степень.

Болтовня тянулась бесконечно, они словно прикасались острой бритвой к моим нервам. Наконец я не выдержал.

— Какой же ваш вердикт, господа? — хмуро спросил я.

Некоторые неловко задвигались, другие упорно смотрели себе под ноги. Мистер Гордон встал и принялся потихоньку прогуливаться по залу. Это был приземистый, грузный человек с круглым, совиным лицом, в очках с толстыми стеклами.

— Ладно, Чарли,— сказал он.— Мне придется потолковать с моими коллегами...

— Да, я знаю,— прервал я его.— Но лично вам картина понравилась?

Он помолчал, потом улыбнулся.

— Чарли, мы пришли сюда покупать картину, а не говорить, нравится она нам или нет.

Это замечание вызвало громкий смех у двух-трех коллег мистера Гордона.

— Я не потребую у вас надбавки, если вы скажете, что она вам понравилась,— ответил я.

Мистер Гордон снова помолчал, потом сказал нехотя:

— Честно говоря, я ожидал чего-то другого.

— Чего же вы ожидали?

Он говорил медленно, словно через силу:

— Ну, Чарли... за полтора миллиона... как бы сказать... в ней нет настоящего гвоздя...

— А вы чего хотели, чтобы в фильме провалился лондонский мост?

— Нет. Но за полтора миллиона!..— Голос его сорвался в высокий фальцет.

— Ну что ж, господа,— сказал я нетерпеливо.— Можете приобрести картину, можете отказаться.

Вмешался Дж. Д. Уильямс, президент компании; он сразу принялся меня умасливать.

— Чарли, я считаю, что картина замечательная! Человечная, своеобразная... (О, как я не люблю это словечко — «своеобразная»!) Вы только потерпите немного, а мы как-нибудь уладим это дело!

— Тут нечего улаживать,— отрезал я.— Даю вам неделю на размышление.

После того, как они так обошлись со мной, мог ли я испытывать к ним хоть малейшее уважение?..

* * *

Прошел целый год, пока я смог окончательно ликвидировать все свои дела в Соединенных Штатах. Там все-таки обложили налогом мои европейские доходы от «Огней рампы» вплоть до 1955 года, хотя мне был прегражден доступ в страну уже в 1952 году. Я не получил даже официального объяснения по этому поводу и, как считал мой адвокат, едва ли получил бы даже разрешение на въезд, чтобы самому отстаивать свои права.

Поскольку я освободился от всяких деловых связей в Америке, я вполне мог послать их к черту. Но, не желая остаться в долгу перед приютившим меня народом, я в конце концов согласился уплатить некоторую сумму — значительно меньшую, чем от меня требовали, но намного бóльшую, чем та, которую я считал бы справедливой.

* * *

Я подхожу к концу моей одиссеи.

Я прекрасно понимаю, что время и обстоятельства благоприятствовали мне. Я был обласкан, я был баловнем публики во всех странах мира. Меня любили и ненавидели. Мир дал мне самое лучшее, что в нем есть, и лишь немного из наихудшего...

Так или иначе, теперь моя жизнь кажется мне еще более захватывающей, чем когда-либо. Я не жалуюсь на здоровье, я полон творческой энергии; я собираюсь делать новые картины,— может быть, не в качестве героя, а сценариста и режиссера, помогающего тем членам моей семьи, которые проявили способности к сценическому искусству. Я все еще честолюбив и не собираюсь уходить в отставку. Многое еще мне хочется сделать. Кроме завершения нескольких незаконченных киносценариев, мне хотелось бы написать пьесу и оперу, если позволит время.

Шопенгауэр говорит, что счастье — это негативное состояние. Я не разделяю его мнения. За последние двадцать лет я узнал, что такое подлинное счастье. Судьба подарила мне удивительную подругу жизни. Я хотел бы написать о ней побольше, но тут замешана любовь, а настоящая любовь — это самое прекрасное из всех чувств в жизни человека, ибо это нечто большее, чем он в состоянии выразить. Для меня жизнь с Уной — непрерывная цепь открытий, я все глубже познаю ее внутреннюю красоту. Вот она идет впереди меня по узким тротуарам Вевё, полная естественного достоинства; я вижу ее изящную прямую фигурку, темные, гладко зачесанные назад волосы, несколько серебряных нитей в них. И внезапно чувство любви и восхищения наполняет меня, и комок подкатывает к горлу.

В этом состоянии счастья я сижу иногда на террасе в час заката и гляжу через широкую зеленую лужайку на далекое озеро и еще дальше — на спокойные горы. В такие минуты я не думаю ни о чем, только наслаждаюсь их безмятежным величием.

Перевел с английского
Л. Чернявский.

Нача



* * *

Люблю сонаты, вальсы, песни.
Но летом, осенью, весной
Не знаю ничего чудесней,
Чем звуки музыки лесной.

Гудит орган, могуче грянув,
И сотрясается собор.
Но ты мощнее всех органов,
Столетний многоствольный бор.

Когда в лесу, пробившись к свету,
Сосна растущая звенит,
Подхватывает песню эту
Ночной мерцающий зенит.

И дуб вздымается поющий,
Лесной Шаляпин, бас густой.
А папоротник в старой пуще
Несмело вторит ноте той.

Потемки боровых глубинок,
Бросая в жар, к исходу дня
Свою мелодию рябины
Заводят, гуслями звеня.

Порой уловишь чутким ухом
Напев жучка издалека,
И тонко жалуется муха
В тугих объятьях паука.

Соловушку послушать любо.
Скворец — заштатный тенорок —
И тот хорош! А дятла бубен
Вступает в дело точно, в срок.

И хор дерев и трели птичьи
Соединяются в лесу,
Чтобы воспеть земли величье,
Росой омытую красу.

* * *

Никак не отыщу я тему
(кружусь, как в море без весла),
Чтоб мне была она под силу,
а также пó сердцу была.

Земные дали озираю,
гляжу в распахнутую высь.
Мне говорят: — Ну, что ты, право!
Внимательнее осмотрись.

Мне написать бы о плотинах
или о новых городах.
Но не решаюсь: по плечу ли
такой эпический размах?

Гляжу на спелые колосья
и робко думаю о том,
Найду ли я слова такие,
как зерна в колосе тугом.

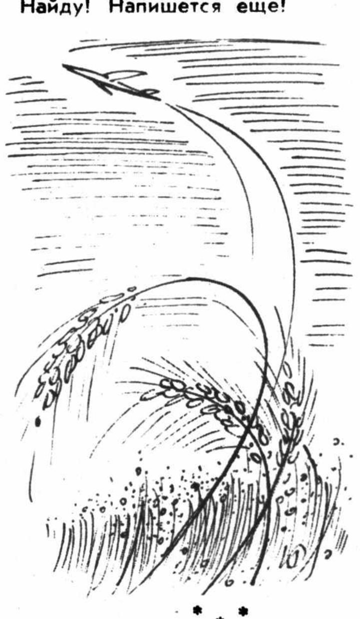
Высотно-звездною поэмой
я удивить людей хочу.
Я мог бы в космос устремиться.
Увы, боюсь, не долечу.

Идет красавица навстречу.
Я этой темой одержим!
Взглянула, гордо улыбнулась —
и под руку ушла с другим.

Вослед растерянно гляжу я.
Ну что ж, не огорчайся, брат.
Для юношеских излияний
ты не подходишь. Староват.

А вон еще одна. Бездумна.
Легка. Любому по плечу.
Но всем доступна эта тема,
а повторяться не хочу.

И все же я не унываю.
В свой поиск верю горячо.
Влюблюсь! Ударит, словно громом.
Найду! Напишется еще!



* * *

Когда о красоте мы судим,
У каждого особый вкус.
Тут нелегко бывает людям
Бесспорный заключить союз.

Петрусь БРОВКА

Рисунки Ю. ИВАНОВА.

ЛО КНИГИ

Но мы порой кончаем споры,
Различье мнений примирив.
Вот человек, седой и хворый,
А все согласны: он красив!

Другой, хоть с виду неприметен,
И тих, и скромен весь свой век,
Мы на вопрос о нем ответим:
— Прекрасен этот человек!

Вот, парфюмерной красотою
Сверкая, женщина идет.
Но, сердце разглядев пустое,
«Уродство» говорит народ.

Черты лица... Порой мы судим
По ним о мере красоты.
Но все равно дороже людям
Души достойные черты.



* * *

Вовек не забуду я дней молодых,
Усадьбу над речкой пригожею...
В помещичьем доме, средь
лип вековых,
Советская власть расположена.

Чадит каганец над старинным
столом.
Эх, хлопцы, садитесь поближе-ка!
Озябшей рукою худой военком
Гоняет по клавишам «Чижика».

Сидим кто в шинельке,
а кто в кожушке,
Усталые, скудно поужинав.
Винтовки дремотно стоят в уголке,
Как мы, на морозе застужены.

Такое не часто бывает у нас.
И рады спокойной минутке мы.
А кто-то в ночи сочиняет приказ,
А кто-то дымит самокруткою.

Боец привалился к дружку
головой,
Умаялся. До разговора ли?
Но рядом за «Правдою»
и «Беднотой»
О новых задачах заспорили.

Но вот военком прекращает играть
И, хлопцам сказав долгожданное:
«Подремлем, братва!»,—
начинает снимать
Свой кольт с кобурой
деревянною.

И в ту же минуту, врываясь
в жилье,
Сигналом трубы сотрясенное,
Тревога звучит.
И команда: «В ружье!»
И схватка.
И ночка бессонная.

* * *

Увы, еще немало есть их...
Они живучи, болтуны,
Которые взывают к чести,
А сами чести лишены.

Иной клянется днем и ночью
Своею совестью с трибун.
Но ты такому верь не очень:
Он пустомеля и хвастун.

А в жизни может все случиться.
(Дела сложнее, чем слова.)
В ненастье меркнет и криница,
Тускнеет неба синева.

Не объясняй нам, сделай милость,
Какой ты праведник большой.
А вдруг и ты — уж так
случилось! —
Однажды покривил душой?

Теперь казнишься ты, рассорясь
Не с кем-нибудь — с собой самим.
Тебя сурово судит совесть,
И ты к себе неумолим.

Но как опять пробиться к свету?
Бахвальство ложное откинь.
Всегда правдивым будь, как эта
Тьму разрывающая синь.

Лишь совесть просветляет имя,
Она судья бессменный твой.
Когда ты чист перед другими,
Ты снова чист перед собой.

* * *

В районе родном я женился
когда-то.
Первейшие в мире достались
мне сваты:

Купальские ночи, березы, рябины
И молнии глаз негасимых,
любимых.

Закатные зори, рассветные росы,
И гибкие руки, и русые косы,

Цветение вишни, и пена черешни,
И песни, звенящие вечером
вешним.

За них благодарен я отчему краю
И сватов иных признавать
не желаю.

* * *

Под небом жарким и бездонным
Высокий день все рос и рос
И полнился счастливым звоном
Косилок и надежных кос.

Прошел июль, от солнца пьяный,
Давно покошены луга.
И, как шеломы великанов,
В полях расставлены стога.

* * *

Быть может, это и не ново.
(Тысячелетия прошли!)
Мы чувству меры, как и прежде,
должны учиться у Земли.

Ведь стоит изменить планете
свой габарит и общий вес,
Она идти путем извечным
не сможет посреди небес.

Ты тоже знай свою орбиту
и не замахивайся вновь
На непосильную работу
и непосильную любовь.

Храни святое чувство меры,
во всем блюди и такт и честь
И не хватай кусок, который
тебе заведомо не съесть.

* * *

Бывает так: покой да тишь.
Живу, не ведая тревог.
Но ты волною налетишь,
Ломая все, сбивая с ног.

Вновь поднимаюсь — я упрям! —
Твоей стихии вопреки,
Хоть скатываюсь по камням
И набиваю синяки.

Теперь ты ласкова ко мне.
Тебя никак не разгадать.
Меня, как в зыбке, в тишине
Укачиваешь ты опять.

Ты как ленивый ветерок,
Как безмятежная заря.
Все застывает: ширь дорог,
И звезды в небе, и моря.

Мой друг! Вредна мне эта гладь.
Шагать — охоты никакой.
Все чаще клонит подремать,
Все больше по́ сердцу покой.

Прошу, опять волною стань.
Ведь ты не ты, когда молчишь.
Скорее налети, нагрянь,
Разбереди земную тишь!

* * *

Жить без тебя, полагаю,
и скучно и пресно.
О, как меня подняла ты,
любимая песня!

С детства любить научила
краюху ржаную.
Звезды ночные и солнце
дневное люблю я.

Кто тебя рано узнал,
не забудет вовеки.
Чистые звуки твои,
как прозрачные реки.

Песня, столетьями силу
свою набирая,
Землю мою облетает от края
до края.

Ветром отточена, ливнем
весенним омыта,
Всюду звучит она ясно,
светло и открыто.

В песне слова — от печальных
до самых веселых.
С разных цветов собирают
поэзию пчелы.

Песня сопутствует нам
от рожденья до смерти.
Эту дорогу попробуйте,
люди, измерьте!

Время придет — под курганом
и я заночую,
Но и оттуда услышу
я песню родную.

Из прошлого

В ступу высыпан ячмень.
Мне толочь его не лень.
Не жалею старой ступы —
Будут
крупы,
крупы,
крупы.

А ячмень не шелушится.
Что ж, добавь чуток водицы.
Снова силы трать не скупо —
Будут
крупы,
крупы,
крупы.

Я толку́, толку́ упорно.
Шелуху снимают зерна.
И для каши и для супа
Будут
крупы,
крупы,
крупы.

Прочь отвеяна полова.
Все готово. Все готово.
Отдыхают стенки ступы,
А в кастрюле —
крупы,
крупы!

* * *

Я много знал самовлюбленных
И видел их печальный крах.
Когда ты вверх идешь по склону,
Опору находи в друзьях.

А подойдя к вершине славы,
На них, надежных, оглянись.
Коль что не так, друзья по праву
Тебе сойти помогут вниз.

Авторизованный перевод
с белорусского
Якова Хелемского.

РАССКАЗЫ О НОВЫХ НАУКАХ

ГЕНЕРАТОР ЧУДЕС

М. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

ЭТА НАУКА ПОМОЖЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЗАВОЕВАТЬ КОСМОС, ОВЛАДЕТЬ ТЕРМОЯДЕРНОЙ РЕАКЦИЕЙ, СДЕЛАЕТ ЕГО ПОВЕЛИТЕЛЕМ КЛИМАТА ЦЕЛЫХ КОНТИНЕНТОВ.

РАКЕТА МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Страшный рев — точь-в-точь такой же, как при запуске космического корабля. Но доносится шум из закрытого помещения. Давайте заглянем туда, предварительно залепив уши воском, подобно спутникам Одиссея при встрече с сиренами. Так и есть, это бушует реактивный двигатель — его голос ни с чем не спутаешь.

Но странное дело, реактивный двигатель укреплен горизонтально. Зачем понадобилось снимать его с ракеты и укладывать на фундамент, словно больного в постель? Какой от него прок в таком неподвижном положении?

Оказывается, реактивный двигатель здесь переменил профессию. Теперь он вырабатывает электроэнергию. Переменил он и название. Его новое имя — МГД-генератор.

СЛУГА ДВУХ ГОСПОД

Три буквы — МГД — означают: магнитогидродинамический. Генератор относится к устройствам, которыми заведует молодая наука — магнитная гидродинамика. Настолько молодая, что лишь несколько лет назад в технических библиотеках на нее завели отдельную карточку.

Гидродинамика, но почему магнитная? Кто намагнитил эту старую науку и тем самым омолодил ее?

Обычная, немагнитная гидродинамика изучает законы движения жидкостей и газов — словом, всего, что течет. Законы эти очень сложны. Галилей говорил, что легче изучить движение звезд на небе, чем течение воды в ручейке.

А теперь представьте, что ручеек проводит электрический ток да к тому же течет не в поле, а в магнитном поле. Он становится «слугой двух господ»: должен подчиняться и законам, по которым течет жидкость, и законам, по которым движется проводник в магнитном поле,— ведь он и жидкость и проводник в одно и то же время!

МГД — магнитная гидродинамика — как раз и изучает движение жидких и газообразных проводников в магнитном поле.

Селекционерам хорошо известно, что при скрещивании далеких видов иногда получаются особо жизнестойкие сорта растений или породы животных. При этом у них могут быть такие свойства, которых не было ни у одного из родителей. Примерно то же самое происходит последние десятилетия в науке: в результате «скрещивания» далеких и, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего отраслей знания появляются новые удивительные «гибриды», ломающие привычные представления, открывающие перед изумленным взором исследователей головокружительные перспективы.

МГД — одна из таких наук. Широта и разносторонность ее интересов поразительны. Нагляднее всего убеждаешься в этом на всесоюзных и международных конференциях по этой науке. Кого там только нет! Энергетики и физики-термоядерщики, химики и металлурги, специалисты по атомным реакторам и геофизики, океанологи и астрофизики, конструкторы космических кораблей и сверхзвуковых самолетов.

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ

Итак, от брака гидродинамики и электродинамики родился талантливый и поразительно разносторонний ребенок. Этот брак был заключен на небесах — в космосе. Именно там, на звездах и в межзвездном пространстве, мчатся в космических магнитных полях недоступные воображению потоки плазмы, бушуют плазменные ураганы и смерчи, сами порождая магнитные поля.

Напомним читателю, что плазмой называют проводящий газ. В обычном состоянии газы не проводят электрический ток, но если дать газу хорошую «встряску» — например, сильно его нагреть,— он в корне меняет свое отношение к электрическому току. Раскаленный до тридцати тысяч градусов газ проводит ток лучше, чем медь. А ведь на звездах газ, превращенный в плазму, нагрет до сотен миллионов градусов. Значит, гигантские океаны звездной плазмы — отличнейшие проводники и должны подчиняться не только закону всемирного тяготения, как думали раньше, но и законам поведения жидких проводников в магнитном поле!

Первым на это обратил внимание известный шведский ученый Ганнес Альвен. Его по праву считают «отцом» магнитной гидродинамики.

Таким образом, если можно так выразиться, новая наука «свалилась с неба». Но и на земле у нее оказалось множество работы. Ученые поставили дерзкую задачу: зажечь свою собственную, послушную людям звезду. Ведь необходимая для управляемой термоядерной реакции плазма должна иметь температуру звездных недр—сотни миллионов градусов. В каком сосуде хранить это фантастическое вещество? Магнитное поле — вот этот сосуд. И в арсенале физиков — магнитные бутылки, магнитные пробки, магнитные ловушки. Но плазма в магнитном поле — это вотчина МГД. Именно магнитная гидродинамика рука об руку со своей младшей сестрой, совсем юной наукой — физикой плазмы — поможет ученым натянуть устойчивую плазменную нить — неиссякаемый источник энергии. В ее ведение поступила и шаровая молния. Быть может, это естественная устойчивая плазма.

ДО ЧЕГО ЖЕ ПРОСТО! ДО ЧЕГО ЖЕ СЛОЖНО!

Первое, что приходит в голову, когда знакомишься с конструкцией МГД-генератора: до чего же просто! Прямоугольная труба, две стенки которой зажаты между полюсами электромагнита, а на двух других стенках укреплены изнутри плоские электроды. Вот и все. И ни единой движущейся детали! Газ, конечно, движется, но не считать же его деталью... Как не додумались до этого раньше!

Но откуда мы взяли, что не додумались?

Идея МГД-генератора была выдвинута еще в начале нынешнего века. И все же наш генератор — детище самых последних лет. Потому что, когда инженеры взялись воплотить эту немудреную идею в жизнь, им пришлось воскликнуть: до чего же сложно! Хотя стенки камеры сгорания, канала и сопла генератора неподвижны и не испытывают больших механических нагрузок, им приходится работать при температуре свыше двух тысяч градусов — это жарче, чем, скажем, в мартеновской печи. И работать не кратковременно, как в ракетах, а многие годы. Лишь недавно были созданы огнеупорные материалы, способные выдерживать температуру до 2 200°, да и то приходится охлаждать стенки водой. А электроды? Ведь они должны быть не менее жаропрочными, чем стенки, и в то же время хорошо проводить электрический ток. И нельзя сказать, чтобы проблема электродов была решена окончательно.

И все же, несмотря на все технические трудности, опытные МГД-генераторы уже работают и дают электрический ток.

Но для чего понадобилось превращать ракету в электростанцию? Какие от этого выгоды?

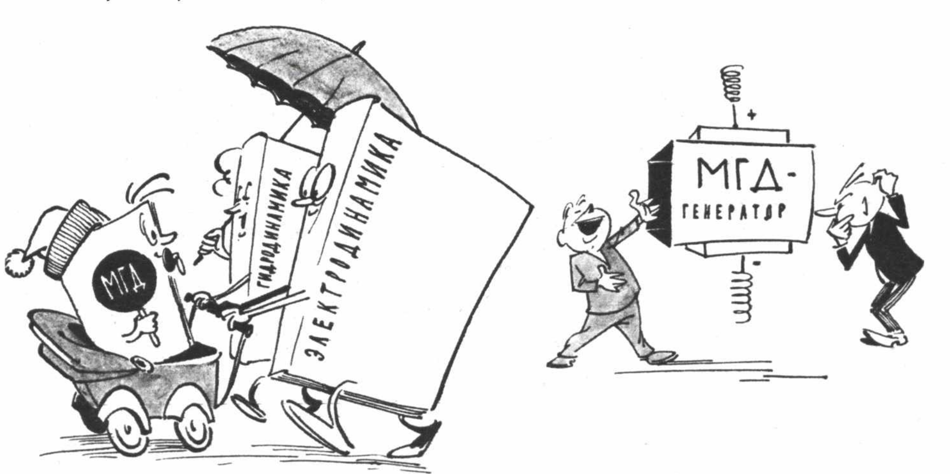
Огромные. Чудо-генераторы сулят настоящий переворот в энергетике. Судите сами: чтобы повысить коэффициент полезного действия какой-нибудь машины или энергетической установки хотя бы на один процент, инженеры и ученые порой бьются годами. А у МГД-электростанции по сравнению с тепловой электростанцией коэффициент полезного действия подскочил сразу в полтора раза.

Океан дополнительной энергии, если учесть масштабы страны.

МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ГОЛЬФСТРИМ?

Ученые давно наблюдали в океане небольшие местные магнитные аномалии, которые казались совершенно необъяснимыми. Лишь недавно установили, что эти изменения магнитного поля вызваны естественными МГД-генераторами — океанскими течениями в магнитном поле Земли.

Измеряя токи специальным прибором, ученые теперь определя-





ют скорость и направление морских течений.

А нельзя ли усилить эти токи, чтобы использовать колоссальную энергию океанских течений для выработки электроэнергии? Это станет возможным, когда люди научатся создавать сверхсильные магнитные поля на больших пространствах. С опущенных в море гигантских пластин электродов на берег по кабелю потечет даровая электроэнергия. А если не снимать ток с электродов, а, наоборот, подвести ток к ним? Тогда генератор превратится в насос! Электромагнитные силы будут гнать морскую воду, выталкивая ее из коридора между электродами.

Быть может, с помощью таких сверхмощных насосов люди создадут в океане новые течения и смогут управлять с их помощью климатом целых континентов, подводя к ним «водяное отопление»?

...Нет на свете моряка, который бы не знал легенды о «Летучем Голландце». Это мифическое судно двигалось совершенно бесшумно. Именно этим свойством—бесшумностью — будет обладать надводный или подводный корабль, на котором установлен в качестве движителя МГД-насос для морской воды.

Необычайный корабль представлял бы собой огромную трубу и, подобно кальмару, выбрасывал назад струю воды.

До создания таких кораблей, так же как и до искусственных Гольфстримов, еще далеко. Но это вовсе не значит, что МГД-насос — досужая выдумка. Правда, постройка МГД-насоса для воды связана с большими техническими трудностями. Уж больно мала электропроводность морской воды. Другое дело — жидкие металлы. С ними МГД-устройства справляются гораздо успешнее.

Металлурги часто сталкиваются с необходимостью хорошо перемешивать металл. Это нужно, например, при вакуумировании стали — чтобы полностью удалить из нее пузырьки газа, и просто для того, чтобы металл был однороднее. С этим успешно справляются МГД-мешалки. Но жидкий металл нужно еще и транспортировать. А нельзя ли просто перекачивать его по трубам, как воду? Можно! Созданы МГД-насосы для расплавленных металлов. Они совершенно изменят облик металлургических заводов.

Новая наука вторглась не только в древнюю металлургическую промышленность, но и в совсем молодую атомную энергетику. На атомных электростанциях жидкие металлы, подгоняемые МГД-насосами, все чаще заменяют воду, которую так трудно удержать в жидком состоянии при температурах в несколько сотен градусов.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ МГД

В нашей стране недавно запущена в направлении Марса межпланетная космическая станция «Зонд-2». Мало кто знал, что в этом полете состоится «дебют» принципиально нового космического двигателя.

Но вот 19 декабря 1964 года мир услышал сообщение ТАСС: «...Впервые в реальных условиях космического полета было проведено испытание установленных на борту станции электрореактивных плазменных двигателей...»

Создание этих замечательных двигателей — «дело рук» все той же магнитной гидродинамики. Проекты плазменных МГД-двигателей для космических кораблей были предложены всего несколько лет назад. И для многих оказалось полной неожиданностью то, что советские ученые и инженеры воплотили эту идею в жизнь за такой короткий срок. Плазменные двигатели на «Зонде-2» были включены по радиокоманде с Земли на расстоянии в несколько миллионов километров.

Однако что же это такое — плазменный электрореактивный двигатель?

В принципе он напоминает МГД-насос в проекте корабля, который движется, подобно кальмару: выбрасывает назад струю воды.

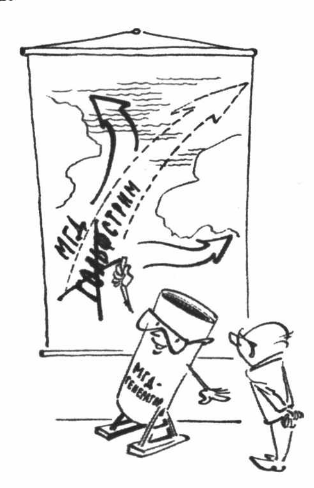
В космическом МГД-двигателе вместо воды плазма. Плазменный электрореактивный двигатель выбрасывает плазму, создавая реактивную тягу.

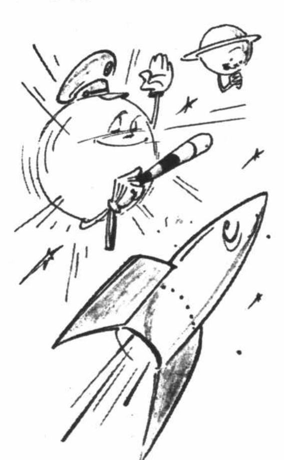
У плазменного двигателя много неоспоримых преимуществ. Он небольшой по размерам, а плазму в нем можно разогнать до огромных скоростей: свыше ста километров в секунду! (Напомним для сравнения, что у ракеты на химическом топливе газ вырывается из сопла со скоростью не больше четырех километров в секунду.) Плазменный двигатель может работать длительное время. Тягу его очень легко регулировать, меняя силу тока и напряженность магнитного поля.

А энергию для этих двигателей можно получать, скажем, от солнечных батарей.

На «Зонде-2» плазменные двигатели использовались в качестве органов управления для системы ориентации. Но это только «проба сил». Недалеко время, когда они будут разгонять космические корабли в просторах вселенной. Во всяком случае, уже сейчас ясно: плазменные двигатели займут достойное место в арсенале покорителей космоса.

...Вот какую странную метаморфозу претерпел реактивный двигатель: сначала его сняли с ракеты, уложили на фундамент, добавили электромагнит и электроды, превратили в электрогенератор, а потом вновь вернули на ракету и отправили в космос, но уже в новом качестве.





За бортом

Л. ПОЧИВАЛОВ

В основе этой истории — подлинные события, которые произошли однажды на иностранном корабле, направлявшемся из Австралии в Европу.

Океан был спокоен. Он принес прохладу, о которой Токаревы давно мечтали. И морское путешествие на родину, сулящее множество впечатлений, казалось наградой за два трудных года, которые они провели в джунглях, где Андрей работал инженером на строительстве дороги, а Мария — переводчицей. Еще недавно — колючая и гнилая чаща, потоки внезапного, как обвал, тропического ливня, тревожные ночи у костров, звериный шорох во тьме... И вдруг просторная, будто площадь, выскобленная до белизны палуба огромного корабля, празднично пестрая публика на ней, свежий, пропахший солнцем ветер, а за бортом во мраке—невидимые корабли, которые несут куда-то добрые свои огни.

В смокинге вышел на палубу толстяк, нежно-круглоликий, с коротким руками, и мягко захлопал в ладоши.

— Леди и джентльмены! — крикнул неожиданно хлипким тенором.— Позвольте напомнить вам, что ровно в девять в большом холле начнется лотерея.

Он обвел маленькими и юркими, как мошки, глазами собравшихся и добавил, доверительно понизив голос:

— Моя интуиция уже подсказала, кто из вас сегодня получит кучу денег.

Все улыбнулись толстяку.

Толстяк был метрдотелем в ресторане первого класса. Кроме того, в его обязанности входило развлекать пассажиров.

* * *

...В холле стоял многоголосый шум. В ожидании лотереи люди были оживленны и разговорчивы. Пустяковая игра, забава для скучающих, но в синих струйках табачного дыма, как в грозовых облаках, висело тревожное ожидание, нервное нетерпение перед испытанием судьбы.

Толпившиеся у дверей расступились, чтобы пропустить Токаревых. Только один неожиданно загородил им дорогу.

Это был стюард. Огромного роста — выше Андрея,— костистый, он как-то неестественно, под прямым углом перегнулся в поясе, склонившись поочередно над Андреем, потом над Марией. Неуверенно улыбнувшись, чуть слышно сказал:

— Извините, сэр! Извините, мадам! Дело в том, что... вас хочет видеть один человек...

— Какой человек?

— Он внизу.— Стюард склонился над ними еще больше.—В самом низу. В матросском кубрике...

Андрей недоуменно поднял брови:

— В кубрике?! Ничего не понимаю... Вы не ошиблись?

Оглянувшись на сидящих в зале, стюард зашептал:

— Вы поймете. Нужно помочь человеку. Сможете только вы...

— Но сейчас лотерея. Может быть, потом? — нетерпеливо сказала Мария.

— Нет! Нет! Именно сейчас. Иначе будет поздно.

Андрей кивнул:

— Понятно! Куда идти?

Стюард осторожно коснулся пальцами его локтя, показывая глазами на дверь.

— Там, у выхода, вас ожидают.

...На палубе их ждал матрос. Он буркнул что-то вроде приветствия и не торопясь двинулся к корме. У него была темная стриженая голова, неестественно маленькая на мощной колонне шеи, и, идя вслед за молчавшим матросом, глядя на его вздувшуюся мускулами шею, Мария испытывала смутную тревогу и предчувствие чего-то нерадостного.

Они долго пробирались по каким-то душным и узким коридорам. В коридорах пахло сыростью,

машинным маслом и камбузной кислятиной, сочились тусклым, желтым светом редкие фонари на стенах, и утробно ухала, тяжело, как неуклюжий зверь, ворочалась где-то внизу, под ногами, корабельная машина.

Наконец матрос раскрыл перед Токаревыми дверь и, пропуская их вперед, сказал:

— Он здесь.

На нижней полке двухъярусных нар, натянув простыню до подбородка, лежал человек. В белом квадрате подушки его сухонькая голова с глубокими морщинами на лице была похожа на деревянное изваяние, побуревшее и потрескавшееся от времени. Из глубины черных глазниц проступали болезненно вздувшиеся крупные веки. Они нервно вздрагивали, словно мучительно пытались разомкнуться.

— Нико! — вполголоса позвал матрос.— Проснись, Нико! Они пришли.

Веки наконец обрели силу и тяжело разлепились. Под ними блеснули полные затаенной боли глаза.

— Пришли?..

Больной сделал слабую попытку приподняться на локтях.

— Лежите! Лежите! — поспешно сказала Мария.

За их спиной скрипнула дверь. Матрос ушел.

— Здравствуйте! — вдруг по-русски произнес больной.

— ...Здравствуйте...

Он растерянно глядел на Токаревых, будто не знал, что сказать еще. Рука его, короткая и мускулистая, беспокойно тискала край простыни.

— Садитесь!— Вытянул руку в сторону свободной полки.

— Спасибо!—пробормотал Андрей.— Мы постоим...

— Нет! Нет! Сядьте.— Больной встревожился.— Я хочу... Я прошу.. чтобы вы побыли со мной немного. Хотя бы две минуты... Если можно, конечно...

Он перевел дыхание.

— Мне Альберто сказал... тот самый камарад, итальянец, который вас сюда привел... сказал, что там, наверху, сейчас лотерея. Извините, если...

— Да что вы! — перебила его Мария.— Обойдемся и без нее! И не думайте!

Больной посмотрел на Марию долгим, внимательным взглядом и неожиданно с облегчением произнес:

— Наконец-то со мной говорят по-русски...

Он поднял руку, словно собирался отереть пот со лба, но тут же безвольно опустил ее на койку.

— Я ведь и не надеялся, что вы придете,—проговорил глухо.— Но Брукс обещал уговорить. У него, у Брукса, конечно, свой интерес... Я ему деньги должен...

— Какой Брукс? — спросил Андрей.

— Стюард в ресторане. Это он вам сказал про меня?

— Да.

— А кто я такой, не говорил?

— Нет.

Человек кивнул и сказал с недоброй усмешкой:

— Иначе бы вы не пришли...

— Почему?

Он опять жестко усмехнулся, болезненно обнажив желтые зубы.

— Почему?.. Да потому что я... предатель!

Отчаянным усилием приподнялся на локте.

— Я смылся шесть лет назад... С нашего корабля... Понимаете, кто я такой?.. Можете уйти... если вам неприятно...

Уронил голову на подушку и закрыл глаза. В раскрытый иллюминатор доносился равномерный шум волн. Казалось, не волны за бортом, а этот больной человек оглушительно дышал, жадно раскрыв раскаленный рот с обкусанными губами.

Марии стало страшно. Она быстро взглянула на Андрея. Тот пожал плечами.

Словно почувствовав этот жест, больной раскрыл глаза и произнес:

— Когда в Джакарте вы сели на наш корабль, я места себе не находил. Вы первые из наших на корабле за последние два года. Все таращили глаза: совьет, коммунист! А я украдкой, со стороны... Вы, поди, и не обращали внимания на меня... Когда драил палубу, нарочно долго волынил около вас: прислушивался. В брюхе боль, в глазах мутнеет; доктор освободил, лежать велел, а я, как ударник,— на палубу со шваброй. И все поближе к вам. Бочком, вроде пса битого...

Его лоб прорезала глубокая складка.

— А ведь шесть лет назад я, Николай Седых, был такой же, как вы...

— Почему же бежали? — хмуро спросил Андрей.

Седых криво усмехнулся и вдруг быстро спросил:

— Вы хотели сегодня участвовать в лотерее?

— Да!

— Я тоже... Только в другой, где ставка — вся жизнь. Поставил и... вытащил проигрышный билет.

— В той лотерее вы в любом случае проигрывали!

— Я знаю! Теперь знаю... Лучше вас! Будьте уверены. Можете мне не говорить! А тогда разумел иначе... Вы были в Сиднее?

— Нет!

— ...Вечером, как в цирке. Блеск! Огней—океан. Рекламы так тебя за шиворот и тащат: туда-сюда. Смотри, паря, житуха-то какая! Живут же, сволочи! А ты разве хуже других? Руки, ноги есть, молод — пригожусь. Чего там! Поманил девчонку и пошел куралесить... Звон в башке.

Седых задумался, закинув под голову руку.

— ...Искали по кабакам. Два дня лишних стояли. Потом ушли. Я спрятался в порту за ящиками, смотрел, как концы отдавали. Все к борту прилипли, вглядываются. Старпом на мостике биноклем по пирсу шарит. Надеется еще... А я им ручкой из-за ящика: гуд бай, камарады! Привет Одессе!

Седых опять помолчал, упершись потускневшими глазами в потолок каюты. Потом сказал безразлично:

— Хотелось всласть пожить... Вот и пожил!

— Что у вас?—спросил Андрей.

Седых по-прежнему равнодушно отозвался:

— Крышка мне! Я знаю. И толковать нечего...

— А доктор был?

— Был. А толку-то что? Успокаивает. До Адена, мол, потерпи. А я чувствую—хана! Финиш! Хэппи энд, как в кинофильме...— и мрачно улыбнулся.

В каюте опять наступила тишина. Только волны тяжело шумели за бортом.

— Шторм будет скоро...— произнес устало Седых.— Видели сегодня закат? Не верьте, что такой чистый... В море ничему нельзя верить... Гадкий закат. У меня по стенам будто кровь текла... Чуть не захлебнулся. Молиться хотел, да не умею...

Хрипло засмеялся.

— Сегодня корабельный патер приходил. Спрашивал, буду ли исповедоваться. А я ему: не желаю, неверующий, мол. Не обучен на родине божьей вере. А он, чертов сын, взглянул на меня внимательно и спрашивает: во что же вы теперь-то верите? И где ваша родина? Я и заткнулся...

— Сколько вам лет? — вдруг спросила Мария, не выдержав новой долгой паузы.

— Мне? Двадцать девять... А что?

— Да нет, так...— Она покраснела, смешавшись. Подумала: Андрей на год моложе.

Седых настороженно взглянул на Марию, словно хотел угадать ее мысли. Шевельнул губами, пытаясь сказать что-то, но не сказал. Тяжело двинулся под простыней, застонал.

— Плохо вам?

— Че... пу... ха! — пробормотал, с трудом сдерживая дыхание.— Все чепуха! Все!

Медленно провел рукой по лбу.

— Не думайте, что я вас позвал исповедь свою слушать вместо попа,— сказал, овладев собой.— Грехи вы мои все равно не отпустите... А что пришли — спасибо. Лихо сейчас одному...

Седых говорил с напряжением. Часто дышал. Боль исказила его лицо, собрала в складки лоб, разомкнула губы — казалось, вот-вот закричит.

— Вам надо отдохнуть!—сказал Андрей, вставая.

Седых поднял руку, жестом остановил Андрея.

— Нет, нет, подождите! Просьба есть.— С усилием просунул под подушку руку, вытащил мятый лист бумаги.

— Адрес брата... Он у меня один близкий. В Харькове, на заводе... Работяга. Вкалывает: семья большая. ...Не очень-то меня жаловал за характер, а, знаю, обидно было, когда я упорхнул. Кровь-то родная! Писал я много раз — не ответил. Посылку послал — обратно пришла. Не востребовал...

Седых протянул записку Марии:

— Возьмите... Если хотите—выбросьте. А может, доведется быть в Харькове... Увидите — скажите брату...

Седых говорил тихо. Лицо его снова обмякло, расслабилось, словно придавилось бесконечной усталостью.

— Скажите брату... мол, умер Колька, беспутный человек. Плюнул на родину, смылся и, как собака, сдох в чужом краю... А в океане его рыбы сожрали...

— Неужели вам ничем нельзя помочь? — спросил Андрей.

В глазах Седых снова вспыхнул недобрый огонек.

— Если бы у вас случилось такое, вам бы помогли. Будьте спокойны! Быстренько. SOS бы послали. Вы из другого теста. Вы законные... За вами двести миллионов. А за мной кто?.. Клопы в матрасе...

После короткой паузы, напрягая губы, словно пытаясь выжать из своего голоса последние силы, но слышно произнес:

— Не хочу... Не хочу... умирать...

Он закрыл глаза, и тень как будто снова скрыла его отрешенное лицо, погрузив больного в сумрак забытья.

Токаревы подождали несколько минут. Седых спал. Он стонал во сне, и голова его покачивалась в такт корабельному крену, будто Седых и в забытьи упорно с чем-то не соглашался. Нет! Нет! Нет!— протестовала его голова.

Токаревы вышли. За дверью курил Альберто, лениво прислонившись к стене.

— Проводите нас к доктору,— попросил Андрей.

* * *

Доктор оказался молодым, сухощавым, в элегантной форме морского офицера. Он вежливо выслушал Андрея. Грустно покачал головой:

— Что я могу сделать, сэр? В Аден мы прибудем только через три дня. А он умрет сегодня или завтра. У него перитонит. Нужна немедленная операция. Но на корабле это невозможно. Значит, корабль должен повернуть в ближайший порт... Отклониться от курса... Вы понимаете?

— Ну и почему же вы не повертываете, не отклоняетесь? — взволнованно спросила Мария.— Ведь человек умирает!

Доктор сдержанно улыбнулся:

— Милая, добрая леди! Я вполне вас понимаю. Я сам искренне огорчен. Я докладывал капитану. А капитан только пожал плечами. У него график. У него пять сотен пассажиров, которых он должен доставить в порт назначения день в день, час в час. Опоздание — это деньги. А кто будет платить? Седых?

Он повернул лицо к Андрею, словно призывая его оценить бесспорность довода.

— Седых не имеет подданства. Человек без родины. Никто! Если бы у него был такой же паспорт, как, положим, у вас, капитан не стал бы задумываться...

Доктор снова учтиво склонился в сторону Марии:

— Капитан бы, милая леди, повернул в ближайший порт. Или бы сдал больного на первый же встречный корабль. Кораблей много в океане. И через несколько часов Седых был бы уже на операционном столе. А потом... Потом пароходная компания предъявила бы счет вашему посольству. И посольство заплатило бы все, до последнего сантима. Не так ли?

Мария молчала.

— Вот в этом-то и дело! — сказал доктор и прищелкнул языком.— За Седых не заплатит никто. Никто в целом свете! Мы его взяли палубным матросом, потому что он сумел кого-то разжалобить в компании. Беспаспортных обычно не берем.

— Значит, он умрет? — глухо спросил Андрей.

— Я не бог! — Доктор развел руками.— Не требуйте от меня невозможного!

...За дверью Токаревых по-прежнему ждал Альберто.

— Ну что? — спросил коротко.

— Бесполезно! — ответила Мария и отвернулась.

Альберто кивнул, посмотрел себе под ноги, наморщил лоб:

— Мы с Нико год прожили на одних нарах. В этот раз в Лондоне он собирался сходить к вашему консулу...

Помолчал минуту, почесывая себе затылок:

— Ну что? Я пойду, пожалуй. До свидания.

И ушел, волоча грузные ступни по линолеуму.



С. Дудник. ПОРТРЕТ СТАЛЕВАРА АЛЕКСЕЯ КОВАЛЕВА.

Я. Ромас. ПОСЛЕДНИЙ КАРАВАН.



Н. Садуков. ВПЕРВЫЕ.

«Огонек» открывает на своих страницах новый раздел — «След в моей жизни».

Судьбы людей различны. Двух одинаковых не найдешь. Но трудно найти и такую судьбу, в которой не оставил бы неизгладимого следа какой-нибудь, подчас совсем чужой, посторонний человек. Кто он, этот человек? Учитель, следователь, случайный попутчик? Почтальон, товарищ по оружию, врач, шофер такси или библиотекарь?.. Он может быть кем угодно. Но сделанное им доброе дело, его дружеский совет или просто высказанная вслух мысль не забываются никогда и живут в сердце всю жизнь.

Мы надеемся, что многим читателям нашего журнала захочется рассказать о людях, которые оставили в их жизни неизгладимый след...

А пока мы начинаем новый наш раздел рассказом о комиссаре партизанского отряда Акиме Захаровиче Михайлове, о котором поведал нашему корреспонденту бывший партизан, а ныне морской инженер, начальник агентства «Инфлот» Херсонского порта Владимир Петрович Казначеев.

В. КАЗНАЧЕЕВ, начальник агентства «Инфлот» Херсонского порта



Комиссар и сын отряда... Аким Михайлов и Володя Казначеев.

Фото М. Глидера.

Не подведу тебя, комиссар!

Комиссар Михайлов вошел в мою жизнь в тот зимний вечер, когда начальник разведки отряда Геннадий Мусиенко привез меня из родной Соловьяновки в лагерь партизанского соединения дважды Героя Советского Союза А. Ф. Федорова.

Помню, как я переступил порог землянки и некоторое время стоял, ослепленный колеблющимся пламенем каганца.

Наконец я увидел комиссара. Я и раньше слышал о нем от Геннадия Мусиенко и от других разведчиков и сразу догадался: это он! Передо мной в накинутом на плечи полушубке стоял худой, высокий человек. Серо-зеленый его китель, сшитый из трофейной немецкой шинели, на груди пересекала старая, потрескавшаяся от времени портупея, которую, как говорили, комиссар привез еще с гражданской. Темные глаза смотрели добро и в то же время остро и проницательно: глядя в такие, не соврешь...

— Ну, парень! — услышал я его звучный голос. — Как тебя к нам занесло? Рассказывай!

Не много мне в то время стукнуло лет — всего четырнадцать, но горя я уже успел хлебнуть. Отец умер еще до войны. Мать... Помнится, я дрожал и запинался, рассказывая о том, как мать послала меня проводить в местный партизанский отряд одного советского офицера, бежавшего из плена; о том, как в нашу деревню неожиданно нагрянула эсэсовская зондеркоманда; о том, как в страшном беспокойстве побежала мать к лесу, чтобы предупредить меня, и как схватили ее эсэсовские часовые...

Комиссар не дал мне договорить.

С того дня я постоянно ощущал его внимание и заботу. Не то чтоб он особо баловал меня. Аким Захарович был человеком суровым. Любимчиков не терпел. Но случись беда — обязательно оказывался рядом. Это он спас меня, когда наш отряд имени Щорса, отрезанный от остального соединения, вырывался из обложенного блокадой Клетнянского леса.

Помню, как шел я, постепенно — на шаг, на два, на десять — отставая от отряда. Вот и остался один. От усталости, голода начинались галлюцинации. Мне казалось, что какой-то огромный дядя навалился на плечи и давит книзу. Или это земля тянула к себе?

Наконец коленки мои подогнулись. Соскользнула с плеча винтовка, воткнулась в снег. Я хотел опереться на нее, но слабые пальцы не удержали цевья. Я сел, потом лег...

Где-то поблизости пересвистывались немецкие лыжники, прочесывавшие лес. Доносились глухие автоматные очереди. Но мне уже стало безразлично, замерзну ли я или меня найдут и прикончат.

И тут передо мной вдруг возник комиссар. Возник бесшумно, из вьюжного марева, из прутяной сетки леса. Он шел, и снег не скрипел под его ногами. Увидев его, я сначала не поверил своим глазам. Решил, что галлюцинация. Но это был он, комиссар. Он подвел своего Серка, молча поднял меня за шиворот и подсадил в седло.

Что было дальше — не помню. Убаюканный мерным покачиванием коня, согретый его живым теплом, я провалился в бездну, а проснулся уже в маленьком лесном хуторке Гнилуша, на печи, заботливо укрытый полушубком.

Летом сорок третьего в нашем отряде организовалась диверсионно-подрывная группа. Соединение готовилось к выполнению важного задания: мы должны были выйти в район Ковеля и нарушить работу этого важного железнодорожного узла. Я узнал об этом и попросился в подрывную группу. Но командир группы только усмехнулся.

— Куда тебе! От горшка еще двух вершков нет, а туда же, поезда взрывать! Сиди себе в лагере.

Чуть не плача, пошел я в штаб отряда, к комиссару. Он выслушал мои сбивчивые объяснения молча, не перебивая.

— Окончательно решил? — спросил наконец он.

— Окончательно, товарищ комиссар!

— А ты знаешь, какая у подрывника работа? У каждого партизана смерть за плечами стоит, а у подрывника — две сразу. Справишься?

— Честное пионерское, справлюсь!

Не знаю, убедило ли комиссара мое «честное пионерское» или он просто верил в меня, но подрывником я стал.

На первых выходах к железной дороге меня основательно пробирал страх, и все же я не подвел комиссара. Не мог его подвести. И первые взорванные нашим отрядом эшелоны врага полетели под откос на минах, поставленных мною.

Никогда не забуду, как посмотрел на меня комиссар, когда я вернулся в лагерь после выполнения первого задания, и как он спросил меня:

— Ну как дела, брат? Взорвал?

— Взорвал!

— Молодец!

А потом снял с гвоздя автомат ППД — предмет моей самой сокровенной мечты, и сунул его мне в руки.

— Носи! Заслужил!..

Позже за взрывы на железных дорогах меня наградили орденом. Но старенький, видавший виды автомат комиссара, полученный из его рук, был для меня, пожалуй, не меньшей наградой...

У Акима Захаровича не было сыновей, и он решил усыновить меня. Может, так оно и случилось бы, если бы не дочь комиссара.

После войны я осел в Херсоне. Тут собралось немало бывших партизан нашего соединения, да и сам командир Алексей Федорович Федоров был избран первым секретарем Херсонского обкома партии.

Аким Захарович тоже работал заместителем председателя горисполкома. В городе, основательно разрушенном гитлеровцами, было туго с жильем, и мы с Акимом Захаровичем вместе жили в одном номере гостиницы.

По совести сказать, я хотел идти работать, но Михайлов настоял, чтобы я поступил в мореходное училище.

— Да куда мне! — пробовал сопротивляться я. — У меня всего-то пять классов!

— Посидишь как следует — сдашь! — строго сказал Аким Захарович. — На подрывника учиться, небось, тоже нелегко было!

Все лето комиссар не спускал с меня глаз. Сам составил расписание занятий. Вместе со мной повторял пройденное. Ни на шаг не выпускал из дому, если не считать коротких вечерних прогулок. И вот случилось почти невероятное — так мне тогда казалось: я благополучно сдал экзамены за семь классов и был зачислен на первый курс мореходки.

До начала занятий еще оставалось около двух недель. Комиссар просил меня съездить в Орел: там жила его семья — жена Мария Петровна и дочь Рита.

— Расскажи, как мы тут с тобой вдвоем крутимся. Передай: мол, скоро нам квартиру дадут.

В Орле я пробыл всего один день. Но весь этот день я провел с Ритой. Мы ходили гулять, смотрели кино, танцевали на танцплощадке. Потом Рита поехала провожать меня на вокзал. И как я ни убеждал себя, что эта девушка мне почти сестра, можно сказать, ничего у меня не получалось.

В скором времени Аким Захарович получил квартиру, и Мария Петровна с Ритой переехали в Херсон.

Здесь летним вечером в порту, у причальной стенки, за день до того, как уйти мне в первое плавание, мы с Ритой решили, что будем мужем и женой...

Узнав об этом, комиссар долго молчал. Потом, как давным-давно в лесу, когда я пришел проситься в подрывники, он медленно спросил:

— Окончательно решил?

— Окончательно, Аким Захарыч...

— Вообще-то рано тебе еще о женитьбе думать... Эх, Володька, Володька! Надеялся, ты мне сыном станешь, а ты в зятья просишься!.. Ну, смотри, чтоб все ладно было. С тебя спрос! Не подведи!

С тех пор прошло почти пятнадцать лет. У нас выросла дочка Леночка, любимица деда.

Нет уже в живых Акима Захаровича. Но и сейчас, когда я берусь за что-нибудь сложное, когда у меня что-нибудь не ладится, когда приходит беда, я вспоминаю комиссара. И говорю себе: «Нет, не подведу я тебя, комиссар!..»

И на душе становится легче. И дело спорится веселей. И беда не кажется бедой...





ШАХТЕР, СОЛДАТ, ПОЭТ

Сколько раз я видел его, слышал, говорил с ним... Но сегодня, думая о нем, я почему-то прежде всего вспомнил один вечер. Киев, университетская аудитория амфитеатром лет десять-одиннадцать назад. Он пришел к нам, студентам (кажется, его привел сын Володя, наш однокашник), в нелегкое для него время. Еще не так давно над его головой разразилась гроза и до сих пор не сбросила с плеч тяжкий груз несправедливых, неосмысленных обвинений, обрушившихся на него за глубоко патриотическое и честное стихотворение «Люби Украину...». Ему было уже далеко за пятьдесят, и он казался очень пожилым и усталым. Но вот прозвучали в характерной для него задушевной, напевной интонации знакомые с детства, со школьных хрестоматий, вошедшие в наши сердца строки: о родном Лисичанске, окутанном дымом завода, о фронтовой «червонной» зиме, о пушках, не напрасно, нет, не напрасно гремевших в донецкой степи, о синих очах, о любви, которая приходит лишь один раз в тысячу лет... Перед нами возникал образ мятежной, прекрасной и нежной молодости шахтера, солдата, поэта — молодость самой Революции, молодость целого поколения отцов. И сам поэт вдруг предстал перед нами молодым, полным бурной энергии, тем самым «Володькой Сосюрой», каким знала его рабочая читательская аудитория двадцатых годов.

И вот сегодня его уже нет с нами. На Байковом кладбище в Киеве, где покоятся многие корифеи украинской культуры, вырос еще один могильный холм. Заполнена до конца «золотая анкета» жизни Владимира Николаевича Сосюры — поэта-коммуниста.

Согласиться с этим невозможно. Но смерть и не спрашивает нашего согласия. Там, где речь идет о жизни человека, она пока еще непобедима.

Зато в поэзии она бессильна. Там, где начинается поэзия, рожденная народом, вышедшая из самых глубоких недр его жизни и навсегда поселившаяся в народном сердце, власть смерти кончается. Такая поэзия бессмертна, как бессмертен народ, породивший ее и признавший ее своею.

Владимир Сосюра был таким поэтом — советским поэтом, народным поэтом, глубоко национальным поэтом. Он и останется им навсегда.

Юрий БАРАБАШ

По просьбе читателей



Воздушная смена — Сережа Шевелев (справа) и Андрюша Байдецкий — должна быть здоровой. Об этом папаши позаботятся.

Фото Б. Мещерякова.

МУЖЧИНЫ С ХАРАКТЕРОМ

Корреспонденция «Схватка на борту самолета», опубликованная в нашем журнале («Огонек» № 48, 1964), вызвала много откликов. Восхищаясь стойкостью летчиков А. Шевелева и В. Байдецкого, наши читатели беспокоятся о их здоровье, спрашивают, будут ли они летать.

Многие интересуются, почему двое пассажиров, находившихся в самолете, не пришли на помощь летчикам? Понесли ли наказание бандиты? Редакция попросила ответить на эти вопросы специальных корреспондентов журнала «Гражданская авиация» И. Волокитина и В. Гольцова.

* * *

...Весть о чрезвычайном событии в молдавском небе облетела всю страну. Как известно.



В клубе завода «Красный выборжец».

«ОГОНЕК» В ЛЕНИНГРАДЕ

В клубе прославленного завода «Красный выборжец» собралось свыше шестисот рабочих, инженеров и служащих. Они пришли сюда для того, чтобы высказать свои мысли о журнале «Огонек». Члены редколлегии и работники редакции А. Софронов, Б. Иванов, В. Викторов, Ю. Кривоносов, К. Черевков рассказали о работе журнала.

Инженер А. Францев, старейший читатель журнала, рабочий Г. Дубинин, мастер В. Евстратов, инженер Б. Добронравов и другие высказали много советов и критических замечаний по содержанию и оформлению журнала.

С интересным рассказом об олимпийских соревнованиях в Токио выступила известная спортсменка Тамара Пресс.

Хорошо было встречено выступление ансамбля «Дружба» при участии солистки Эдиты Пьеха.

На другой день разговор с читателями происходил на Васильевском острове, во Дворце культуры имени С. М. Кирова. Здесь в лекционном зале состоялся устный выпуск журнала «Огонек».

В вечерах во Дворце культуры имени Кирова и на заводе «Красный выборжец» приняли участие лауреат Ленинской премии поэт Александр Прокофьев, московский писатель Евгений Поповкин, поэты Елена Серебровская, Александр Решетов, Нина Королева, Николай Кутов, Илья Авраменко, Вячеслав Кузнецов, драматурги Владимир Константинов и Борис Рацер. Композитор А. Аверкин с певцом Н. Ушаковым исполнили новые песни.

Фото Н. Ананьева Ю. Кривоносова.

Не фельетон

РАСИСТЫ-ПРОПАГАНДИСТЫ

Пьеса прямо так и названа — «Туалет». Чего уж тут мудрить, если все ее действие, от начала до конца, развивается в... мужском туалете. Сей «шедевр» — последнее слово американской драматургии. Но это не просто очередной выверт так называемого авангардистского искусства, не просто очередное хулиганство на сцене и глумление над искусством. На примере этой пьесы можно со всей очевидностью убедиться в истинных целях как создателей подобных творений, так и их меценатов.

Пьеса «Туалет» высоко оценена американской буржуазной прессой. Посмотрим же, как и за что хвалит ее, например, журнал «Тайм». Во первых строках рецензии автору пьесы Джонсу воздается хвала за то, что он воспевает жестокость и ненависть. «Тайм» пишет: «Голую, ничем не прикрытую ненависть, как и неприкрытую любовь, очень трудно воплотить на сцене, но драматургу Джонсу удалось сделать это со злобной яркостью».

Сюжет пьесы прост. Группа старшеклассников-негров издевается в туалетной комнате над своим белым сверстником по имени Кэролис и избивает его до полусмерти. Рецензент не без воодушевления пишет:

«Поставленная с кошмарным блеском пьеса смотрится как подлинная сцена из жизни уличной банды. Даже шуточная игра рулонами туалетной бумаги выглядит зловеще. Негры изрыгают самые мерзкие непристойности на Кэролиса и друг на друга. Диалог пьесы — это поток порнографии столь высочайшей интенсивности, какой еще не знала американская сцена. Вся пьеса — акт словесного неистовства, подчеркнутого и усиленного драмой физического неистовства».

Нами опущены высказывания рецензента, в которых он живописует некоторые конкретные детали поведения героев пьесы в

за героизм и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, командир самолета Анатолий Григорьевич Шевелев и второй пилот Владимир Георгиевич Байдецкий награждены орденами Красного Знамени.

Летчики приняли в воздухе неравный бой. Преступники готовились к нападению. Для экипажа самолета оно было неожиданным. Бандиты были вооружены. Летчики — безоружны.

Двое пассажиров струсили. Казалось бы, у них не было иного выхода, кроме как прийти на помощь летчикам. Ведь, если бы погиб экипаж, никто бы не спасся. Но страх оказался сильнее разума. Пассажиры отказались от борьбы и стали на колени. И спасло их лишь мужество летчиков, которых они, в сущности, предали.

Что касается бандитов, то «шеф» и его подручный — закоренелые негодяи, на счету у которых немало преступлений. На этот раз бандитам не удалось уйти от возмездия. При их задержании «шеф» оказал сопротивление и был убит на месте. Его подручный арестован и в ближайшее время предстанет перед судом.

А наши герои-комсомольцы Анатолий Шевелев и Владимир Байдецкий уже выписались из больницы. Скоро опять в небо! По свидетельству лечащего врача Е. И. Ройтбурта, оба «больных» — мужчины с характером. Их на земле не удержишь!



Выступают: поэт Александр Прокофьев.



Рекордсменка мира Тамара Пресс.



Мастер Владимир Евстратов.

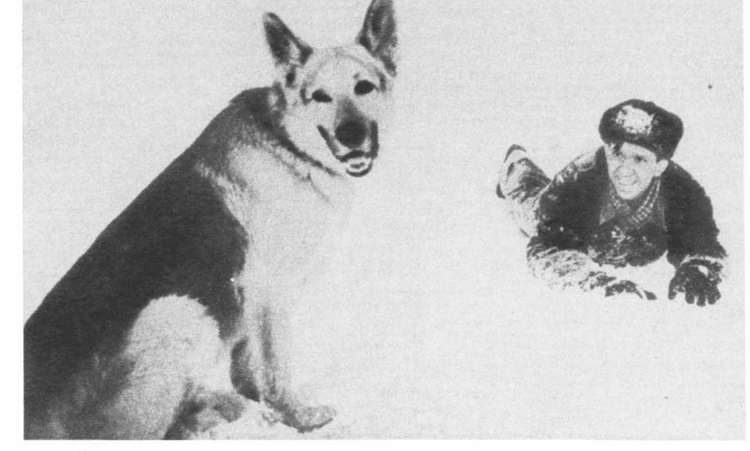
туалете. Подробности такого сорта не в традициях нашей прессы. Ну, а в «Тайме» бумага, как видно, все стерпит.

Итак, критик отзывается о пьесе одобрительно, хотя и несколько заумно. Его лично пьеса вполне устраивает, и он рекомендует ее зрителям.

А почему? Не потому ли, что в Соединенных Штатах расисты то и дело безнаказанно убивают негров? Не потому ли, что все больше честных американцев выступают против расизма в Соединенных Штатах? Кое-кому это не по душе, и «Тайм» спешно пропагандирует расовую ненависть: смотрите, мол, какие звери эти негры.

Такова в данном случае социальная подоплека безобразного авангардистского кривлянья. Хотите вы этого или нет, расисты-пропагандисты из журнала «Тайм», но эту подоплеку не скрыть ни туалетными аксессуарами, ни порнографией, пусть и самой «высочайшей интенсивности».

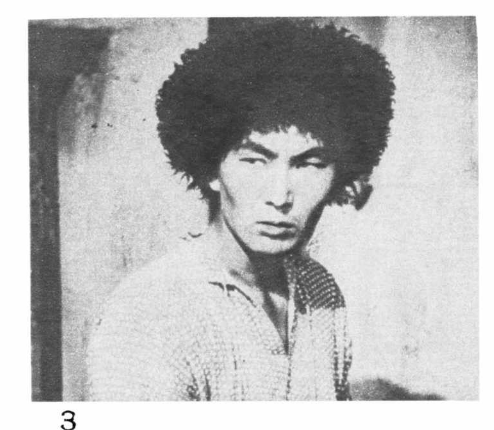
В. НИКОЛАЕВ



1



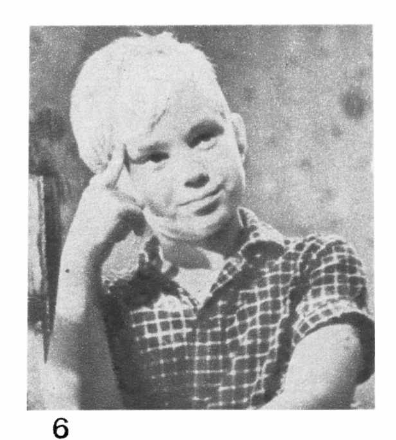
2



3



4



5

6



7

1. В кадре — Мухтар со своим хозяином Глазычевым. Эту роль чудесно сыграл артист Юрий Никулин в картине «Ко мне, Мухтар!»
2. «Где ты теперь, Максим». Выпуск студии «Мосфильм». Роль Максима стала удачей школьника Бориса Токарева.
3. Джуру из картины «Джура» — студия «Киргизфильм» — исполняет молодой актер М. Асанбаев.
4. А это кадр из «Армии Трясогузки» (Рижская студия). В роли Трясогузки — Витя Холмогоров.
5. Артист Е. Евстигнеев — начальник пионерлагеря в фильме «Добро пожаловать».
6. Заглавного героя фильма «Приключение Толи Клюквина» (студия имени М. Горького) играет Андрюша Филатов.
7. Казахский школьник Нурлан Сигизбаев легко отождествляет себя с озорником и фантазером Кожой, а картина так и называется: «Меня зовут Кожа».

ДОБРЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ...

Зажигается экран, и, как по волшебству, сразу умолкает гул ребячьих голосов. В кинотеатрах наступает завороженная тишина. Тысячи детских сердец начинают биться сильней; в душах пробуждается желание быть похожим на героя новой картины — обязательно доброго и справедливого, а притом смелого, ловкого, отважного!..

И хорошо, что именно такими предстают герои многих новых фильмов, выпускаемых студиями страны специально для школьников и юношества. Это и Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького в Москве; и самая большая студия страны — «Мосфильм», имеющая самостоятельное творческое объединение детских фильмов под названием «Юность»; и многие республиканские киностудии: Рижская, «Беларусьфильм», «Грузияфильм», «Казахфильм», «Киргизфильм»...

Детские картины становятся все более разнообразными по жанру; среди них есть комедия и сатира, есть драма; существуют приключенческие и спортивные фильмы... Впрочем, приключения, яростные схватки, скачки, борьба почти непременно сопутствуют всем съемкам для детей, в том числе и тем, что посвящены историко-революционным темам: «Армия Трясогузки», «Джура», «Мандат», «Именем революции», «Далекие страны»... Иначе аудитория заскучает, начнет шуметь.

Думается, особенно удалось сочетание важных морально-этических проблем с острым приключенческим сюжетом в фильме «Ко мне, Мухтар!». Картина учит юных зрителей добру и справедливости, а смотрится с таким горячим интересом, с которым мог сравниться разве что старый-престарый «Джульбарс», обошедший все экраны мира...

Н. ЖЕЛЕЗНЯКОВА

Наших прыгунов преследуют неудачи. Петр Коваленко имел все основания рассчитывать на победу в недавнем международном турнире четырех трамплинов в Альпах, но должен был уступить победу. У него были все шансы на успех и в Кавголове. После двух серий Коваленко был первым, однако упал после третьей серии и уступил победу прыгуну из ГДР Петеру Лессеру. Второе место занял финн Паули Ункюнен. На снимке: кавголовский трамплин, 10 января 1965 года.


Вот он, герой лыжной увертюры Виктор Круглов.


Что происходит на дистанции? Об этом сообщают зрителям цифры на щите.

В. ВИКТОРОВ

Фото А. БОЧИНИНА.

СНЕЖ

Отныне Кавголово будет занимать место в одном ряду со снежными столицами Европы — финским Лахти, шведским Фалуном, норвежским Холменколеном, польским Закопане. Международная федерация лыжного спорта с нынешнего года включила кавголовские международные гонки в свой постоянный календарь.

Пять лет назад впервые встретились в начале сезона под Ленинградом сильнейшие гонщики СССР и многих стран, и с тех пор эти встречи стали традиционными. В Кавголове оттачивали свое мастерство многие выдающиеся лыжники. Здесь после неудач, испытанных нами на Белой олимпиаде в Скво-Вэлли, два героя Белой олимпиады 1956 года, перешедшие на тренерскую работу, Николай Аникин и Владимир Кузин начали готовить лыжную молодежь.

Ревниво хранят свои секреты скандинавские спортсмены, нелегко проникнуть в тайное тайных лыжного мастерства. В чем секрет удивительной выносливости и быстроты финских, шведских, норвежских асов? Почему им удается так легко и стремительно преодолевать трудные подъемы? Почему ряды их лыжных ветеранов так планомерно и безостановочно пополняются способной молодежью? Несколько лет продолжались упорные поиски спортивного мастерства. За это время такие способные гонщики, как Иван Утробин и Геннадий Ваганов, хоть и добились ряда успехов, однако так и не смогли стать победителями крупнейших международных гонок. Но зато теперь рядом с ними стало новое поколение лыжников, таких, как Игорь Ворончихин, Анатолий Акентьев, Баязит Гизатуллин. А сейчас поднимается новая поросль лыжной молодежи.

О них-то прежде всего и заговорил со мной государственный тренер Виктор Баранов, которого я встретил в первый день кавголовских соревнований у трамплина.

— Советую внимательно изучить стартовый протокол гонки на 15 километров,— сказал мне Баранов.— И не забудьте взять в кружочки фамилию не только наших известных лыжников. (В кружочки мы обычно берем фамилию тех гонщиков, которые, по нашему представлению, могут стать лидерами, войти в первую десятку, и этот совет тренера поэтому был достаточно многообещающим.) И в первую очередь возьмите под наблюдение Виктора Круглова,— добавил Баранов.— Что, не слышали о таком? Не удивляйтесь — он из Петропавловска, там вырос у тренера Коваленко, а теперь с ним занимается сам Колчин.

Колчин? Один из самых знаменитых наших гонщиков, олимпийский чемпион и победитель лахтинских гонок стал тренером? До сих пор лидер советской команды, сам успешно выступая в течение многих лет, успевал готовить к борьбе лишь Алевтину Колчину — свою жену и сильнейшую лыжницу мира. Что ж он, сошел с дистанции? Да, это так. Отныне Колчин стал одним из тренеров сборной команды СССР. И вот один из его питомцев, Виктор Круглов, как мы узнали, подает большие надежды. Чего же может добиться молодой лыжник с Камчатки, впервые выступающий на международных соревнованиях?

Ответ на этот вопрос мы получили на следующий день.

Накануне над Кавголовом пронеслась пушистая, щедрая метель, значительно осложнив задачу прыгунам. Нелегко пришлось и тем старожилам кавголовских холмов, которым была поручена подготовка дистанции гонки. Всю ночь они протаптывали, накатывали лыжню.

После беседы с Виктором Барановым пришлось и нам заново «протоптать» стартовый протокол, значительно расширить круг лыжников, которых нельзя было терять из виду. В. Тараканов из Ярославля, Д. Ярлыков из Кемерова, Б. Шумилов из Свердловска — все они вошли теперь в состав сборной команды. А вот и Виктор Круглов. Он возьмет старт одним из последних. Перед ним на дистанцию уйдут гонщики Финляндии, Швеции, Италии, лыжники из ГДР и Чехословакии. Ему придется вести борьбу и со своими знаменитыми друзьями по команде.

Наши «обстрелянные» гонщики уже не раз встречались с лучшими лыжниками, но и они впервые поведут борьбу на своем снегу с итальянцами. А ведь лыжники этой южной страны за последние годы не раз добивались удивительных успехов.

Как-то они выступят в Кавголове? Нет, не смогли итальянцы на этот раз победить в Кавголове хозяев лыжни! Конечно, было бы верхом легкомыслия делать выводы о шансах наших лыжников лишь по снежной увертюре. Тем более, что вторую гонку на 30 километров выиграл известный финский гонщик К. Ойкарайнен, оставив И. Любимова и Г. Ваганова на втором и третьем местах. Предисловие автора, пусть самое блистательное, никогда еще не обеспечивало успеха всей книги. Впереди самые важные встречи сезона. И все они будут являться лишь предисловием к чемпионату мира, который будет проведен будущей зимой в Норвегии. Да, одна гонка — это всего лишь одна гонка, но прошла она для нас исключительно успешно. И не только потому, что все зарубежные гости оказались побежденными и всего лишь один из них, финн Осмо Карьялайнен, вошел в число десяти первых. Главное, что радует в двух гонках,— это удивительно сильный состав наших молодых лыжников.

Точно такая же картина повторилась и у женщин. Там надежда Финляндии —серебряная медалистка Белой олимпиады в Инсбруке Мирья Лехтонен заняла лишь пятое место, а лучшее время показала трехкратная чемпионка мира Клавдия Боярских. Но эта гонка показала, что не только она, не только Алевтина Колчина и Мария Гусакова могут теперь претендовать на успех. Рядом с ними стоит молодежь, такие многообещающие лыжницы, как Рита Ачкина и Вера Чернова, занявшие второе и третье места.

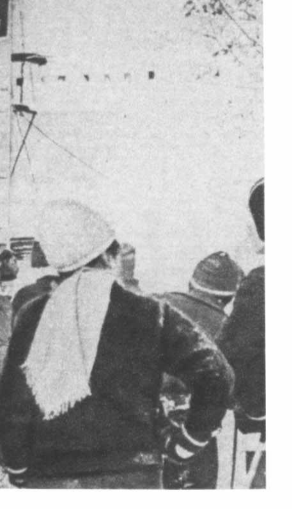
Итак, лыжня нового сезона проложена! Нам есть теперь на что надеяться перед новыми встречами на снегу.

Метелица не помешала!



Ленинградец Петр Коваленко — питомец кавголовских холмов.







Клавдия Боярских и Мирья Лехтонен. Вот так, рядом, они стояли на трибуне почета в Инсбруке.



Прыгает победитель соревнований в Кавголове Петер Лессер (ГДР).

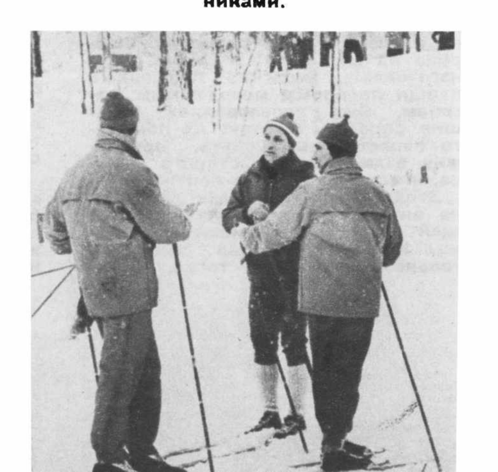
НАЯ УВЕРТЮРА

Высокий темп предложили своим гостям молодые советские гонщики. На дистанции шведский лыжник Хедстрем Роланд.

Неудачный прыжок.



Тренер сборной команды СССР Павел Колчин беседует с итальянскими лыжниками.



Лыжный натюрморт.

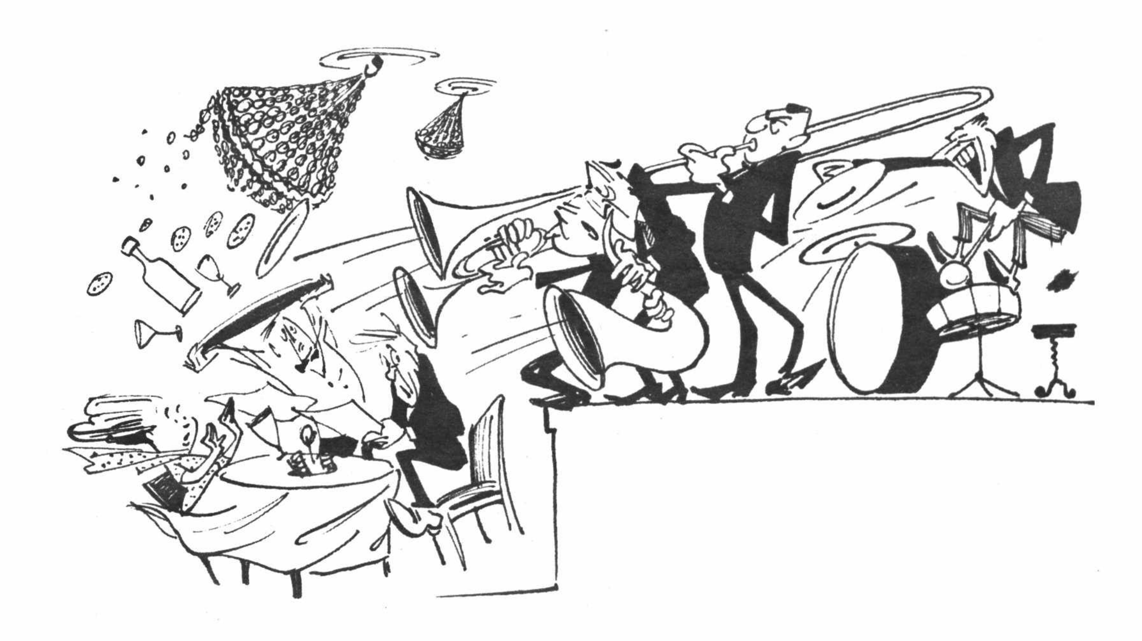


Маленький фельетон

Бифштекс под музыкальным соусом

А. ПАВЛОВА

Рисунки **В. Черникова.**



Знаете ли вы, что такое децибел? Это единица измерения различных шумов: природных и производственных, транспортных и бытовых.

С помощью децибел можно иметь представление об интенсивности шумов и сравнивать их. Скажем, шум мотора аэроплана на расстоянии 5 метров равен 116 децибел. Рычание льва составляет 87 децибел и почти столько же громкая музыка — 70—80 децибел и т. д. Но поскольку со львами и аэропланами приходится сталкиваться не каждый день, эти цифры волнуют нас как-то меньше. Другое дело — громкая музыка, которую ты должен слушать по чьей-то воле, набираясь этих самых децибел.



А они, по свидетельству врачей, как бы отравляют человека, действуя на весь организм — на нервную и сердечно-сосудистую системы и даже на деятельность желез внутренней секреции и желудка.

Скажем прямо и сразу: мы за музыку, исполняемую коллективами большими и малыми, в театрах, концертных залах и даже в ресторанах. Мы за любую хорошую музыку, кроме той, которую можно сравнить с рычанием льва.

Именно с такой музыкой можно столкнуться во многих ресторанах.

Зашли мы как-то с мужем в ресторан «Днепр». Было у нас небольшое семейное торжество — медная свадьба. Дома возиться с кухней не хотелось, да и дата, считали, еще не очень заслуженная для пышного юбилея.

Сели. Сидим. На столе вкусные блюда. То ли по этой причине, то ли под впечатлением нашей даты муж на меня влюбленными глазами смотрит, в лирику ударился, в воспоминания.

— Помнишь,— говорит, — как я тебя первый раз провожал, по какой это улице мы шли?

Только я стала припоминать, оркестр, небольшой такой квинтетик, хорошо вооруженный всякой металлической утварью, как грохнет фортиссимо. С испуга я сразу забыла все на свете.

— Видишь, какая ты невнимательная,— обиделся муж.

Ударник в это время еще одну длинную очередь на тарелках и барабане выдал.

— Ты что там шепчешь?— говорю я мужу.— Не можешь громче?

Муж стал кричать. В оркестре в это время саксофонист притих, а ударник менял тарелки, и слова мужа прозвучали на весь зал. Соседи поглядывали на нас с любопытством, а кое-кто — с сочувствием. Стали давать советы:

— Делайте вот как мы. Пишите на салфетках друг другу, что сказать хотите. Мы с приятелем уже с час как переписываемся. Даже тосты пишем. Прочитаем. Чокнемся. Выпьем.

Оркестранты, отыграв сорок минут, наконец умолкли и пошли отдыхать. После короткого перерыва оркестр опять взялся за работу, и мы в панике покинули ресторан. Вроде и не пили почти ничего, а пошатывало.

Шуму сейчас объявлена война. С главных улиц городов убрали трамваи, автомашины лишили права голоса, инженерная мысль работает в таком направлении, чтобы станки и машины работали без шума. Для защиты от шума созданы противошумные наушники, антифоны. Можно, конечно, и в ресторанах ставить на стол рядом с горчицей и перцем антифоны.

Но, честное слово, лучше сделать иначе.

Пусть оркестр играет (и обязательно играет!), но не так громко. Пусть больше звучит музыка тихого, дружеского, я бы сказала, интимного пиано так, чтобы можно было отдохнуть.



В обмен — улыбка

Как и во многих других магазинах, при выходе из нашего Киевского универмага висит плакат «Спасибо за покупку». Этот уже ставший стандартом плакат свидетельствует о том, что мы хотим добрым словом проводить своего желанного гостя, позаботиться о его хорошем настроении.

Однако настроение от этого не всегда повышается.

Мы подсчитали, что в среднем наш универмаг ежедневно посещают около 100 тысяч человек, а покупок делается в день 40 тысяч. Значит, 60 тысяч человек скептически улыбнутся, бросив взгляд на наш транспарант.

Это не значит, правда, что торговля идет из рук вон плохо... За последнее время производится несравненно больше предметов народного потребления. Люди значительно лучше стали одеваться, больше покупать. В этом можно убедиться и в нашем универмаге.

Нам легко и приятно продавать изделия Киевской швейной фабрики имени Смирнова-Ласточкина. Покупателям нравятся мужские костюмы Киевской фабрики имени Горького.

Все эти товары не залеживаются в магазинах. Купив их, человек уходит домой в хорошем настроении. Да и нам приятно.

И все же большинство посетителей универмага остаются неудовлетворенными. Почему?

Было бы неплохо, если бы директор киевской фабрики «Октябрь» Ф. К. Гулий объяснил, почему руководимое им предприятие своевременно не выполняет заказ Центрального универмага на плащи нужных размеров. Фабрика начала было в этом году изготовлять мужские шерстяные плащи по новым молодежным фасонам. Они пользовались большим спросом. И вдруг их почему-то перестали выпускать, предложив взамен плащи старого фасона, которые никто не покупает.

Этой же фабрике мы заказали на октябрь тысячу мужских плащей из водоотталкивающей ткани. Наш заказ был выполнен только 26 ноября — тогда, когда уже не было спроса на плащи: осенний сезон закончился. Лежать теперь такому товару до весны. Но ведь весной нужны уже другие расцветки, а к будущей осени эти плащи будут выглядеть старомодными.

А бывает еще и так. На просмотрах моделей одежды нам показывают отличные образцы. Заказываем их. А фабрика пускает в производство иную ткань. Вот, например, Одесская швейная фабрика. Она прислала нашему универмагу 1 470 женских плащей на сумму около двенадцати тысяч рублей. Но вся беда в том, что плащи сшиты совсем не из той ткани, что была обещана. Всю партию товара пришлось забраковать и вернуть в Одессу, а фабрику оштрафовать.

Полностью забракованы и мужские шелковые сорочки Добрянской швейной фабрики Черниговской области: плохо сшиты, не та ткань, не та расцветка, не тот рисунок.

Для улучшения торговли очень важно хорошо знать спрос потребителя. Здесь пора применить новейшую технику, включая электронно-счетные машины. Такие машины нам обещают. Но

Супруги З. слывут невероятными снобами. Попасть в узкий круг лиц, бывающих в их доме,— задача не из легких. Чтобы переступить порог квартиры супругов З., недостаточно быть обыкновенным инженером, адвокатом или профессором университета, для этого нужно действительно что-то представлять собой. Трудно поверить, однако это факт: во время приемов у супругов З. в дверях их салона стоит дворецкий, которого специально нанимают для того, чтобы он провозглашал имена и титулы приглашенных.



Снобизм

Януш ОСЕНКА

Рассказ

— Пан Дусялек из комиссионного магазина! — объявляет дворецкий, трижды ударив палкой в пол.

Слышится всплеск возбужденных голосов. Дусялек входит, приветствуя всех кивком головы, раздавая улыбки. Тихо, конфиденциально он шепчет близстоящим:

— Поступила партия...

Овации вскоре стихают, остаются лишь тихие звуки музыки, шелест платьев, тонкий аромат духов.

— Пани Кметковска из магазина «Деликатесы»,— извещает дворецкий.

Мужчины теснятся, шаркая лакированными ботинками, поправляют галстуки. Лицо хозяйки расплывается в улыбке, и сердечным, полным уважения жестом она приглашает гостью:

— Просим, просим... Мне так приятно видеть вас!

А дворецкий с каменным лицом уже извещает о прибытии следующего гостя:

— Пан Стрженпкевич, референт жилотдела!

— ...жилотдела... отдела...— бежит по салону шепот, как эхо.

— Мой дорогой! — раскрывает объятия хозяин дома.— Дорогой!— повторяет он, от волнения не в состоянии произнести больше ни слова.

Палка дворецкого стучит в пол. Слышны фамилии, титулы.

— Пан Гзентек, директор ларька по продаже носков!

— Поздер с угольного склада!

— Пани Капушчиньска, билетерша кинотеатра!

— Пан Пискорек из «Мотосбыта»!

— ...иский, фининспектор!

Смолкают гости, с уважением склоняясь перед фининспектором. Но следующие слова дворецкого подобны резкому скрежету, звучат неприятным диссонансом:

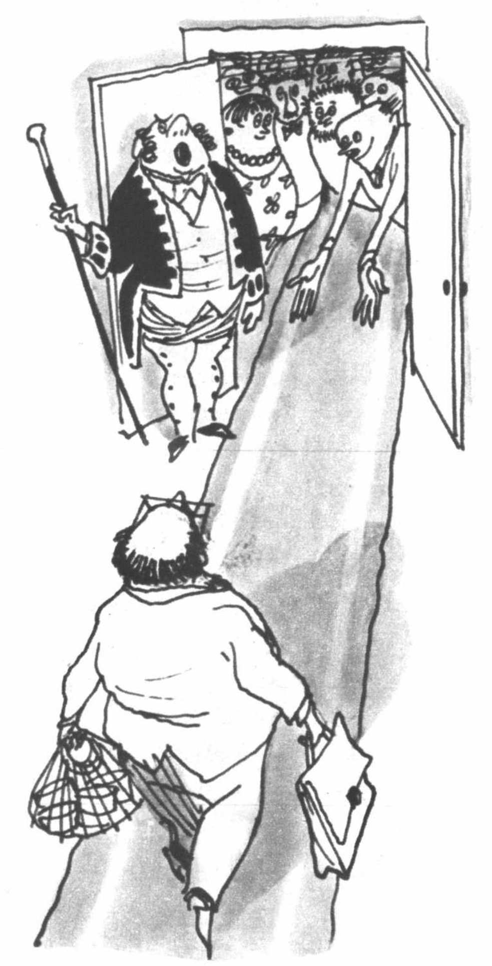
— Пан Осенка, писатель!

Гости в высшей степени смущены, многие инстинктивно отворачиваются, на их лицах появляется гримаса недовольства.

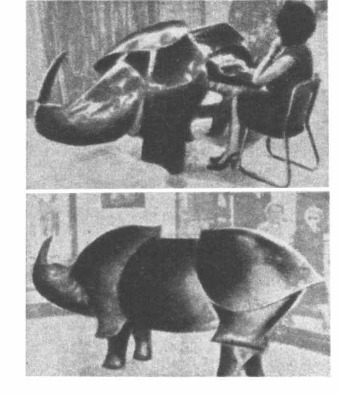
— Какой писатель? Что за писатель? Кому он нужен?

Хозяин пан З. ласково, ободряюще здоровается с вошедшим, после чего поднимает руку, успокаивая гостей:

— Ничего, что писатель. Его тетка продает билеты в спальные вагоны в бюро путешествий «Орбис».



Перевела с польского И. ГАВРИЛОВА.





ЗООЛОГИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Парижский архитектор Ксавье Лалан, специалист по внутреннему убранству помещений, придумал новую мебель. Он сконструировал секретер в виде носорога, внутри которого находится письменный столик, стойка с напитками и холодильник.

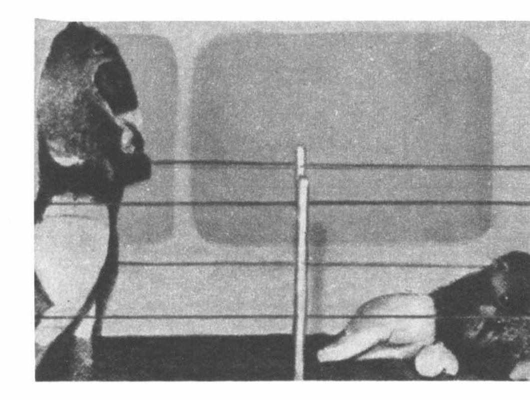
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА ВОДЕ

Покалеченный в 1944 году якорной цепью испанский моряк Хацинто Жуан Бааза после выздоровления дал обет провести на море двадцать лет. Погрузив свое имущество на рыбачью лодку, он прожил на воде в бухте города Аликанте два десятка лет, промышляя рыболовством. Только недавно он ступил на землю.

НА РИНГЕ — БЕЛКИ

Сисси и Перри — две симпатичные белки. Их вырвал из когтей дикой кошки житель шотландского города Абердина Вильямс. Он заметил, что во время еды зверьки дерутся друг с другом за каждый орех. Это навело его на мысль обучить их боксу. Дочь Вильямса сшила белкам боксерские перчатки и спортивные штанишки, а отец построил небольшой ринг.

Сисси и Перри встречаются на ринге два раза в неделю. На снимке: финал борьбы, продолжавшейся около минуты. Сисси бросил своего противника на пол. За это ему была выдана награда — горсть орешков. Белки любят эту игру, дерутся по правилам и не причиняют друг другу вреда.



пока мы их получим в достаточном количестве, можно было бы помочь делу более элементарным и дешевым способом. Речь идет всего-навсего о товарном ярлыке. Фабрика прилагает его к каждому изделию, и вместе с покупкой он попадает к покупателю. А у нас в магазине не остается ничего. Почему бы ярлык не делать в двух экземплярах? Один идет с покупкой, а второй остается в магазине для учета. Это дало бы нам возможность каждый день знать, какой товар, какая модель сегодня пользовались самым большим спросом. Накладной расход здесь копеечный, а выигрыш огромный.

Такой учет спроса позволил бы оперативно давать заявки промышленности. Но нужно еще, чтобы и промышленность оперативно реагировала на эти заявки.

Очевидно, пришло время пересмотреть порядок наших взаимоотношений с промышленными предприятиями. Что происходит сейчас? Получает от нас срочный заказ швейная фабрика. Прежде всего надо позаботиться о ткани. По этому поводу руководители фабрики должны обратиться в трест, в совнархоз, в Госплан... Пока вопрос решится во всех этих инстанциях, сезон на товар проходит, он уже не нужен. Вероятно, было бы правильнее, если бы швейные фабрики могли вступать в непосредственные контакты с текстильными предприятиями.

Нашему универмагу предоставлено право заключать прямые договоры с киевскими предприятиями. Такая практика в какой-то мере оправдывает себя. Почему лишь в какой-то мере? Потому, что предоставляется свобода заказа только в отношении фасона и роста. Что же касается ассортимента, то мы ограничены лимитом по группам товаров. Было бы целесообразнее дать нам право самим выбирать ассортимент по наименованию товаров, фасонам, тканям, размерам и ростам в зависимости от спроса и сезона.

Будут правильно решены все эти вопросы — будет больше покупок и больше улыбок!

П. ТИЩЕНКО,
заведующий отделом швейных изделий киевского Центрального универмага,

А. ПОЛЯЧЕНКО,
заместитель заведующего отделом

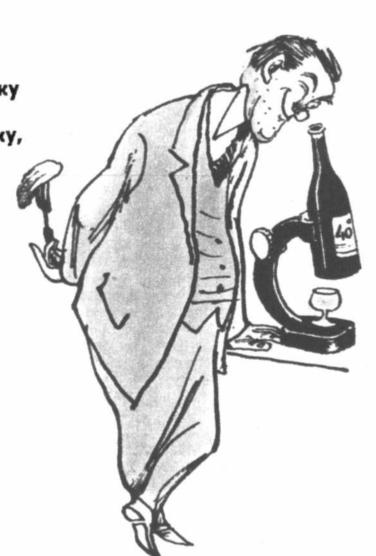
Отчетность

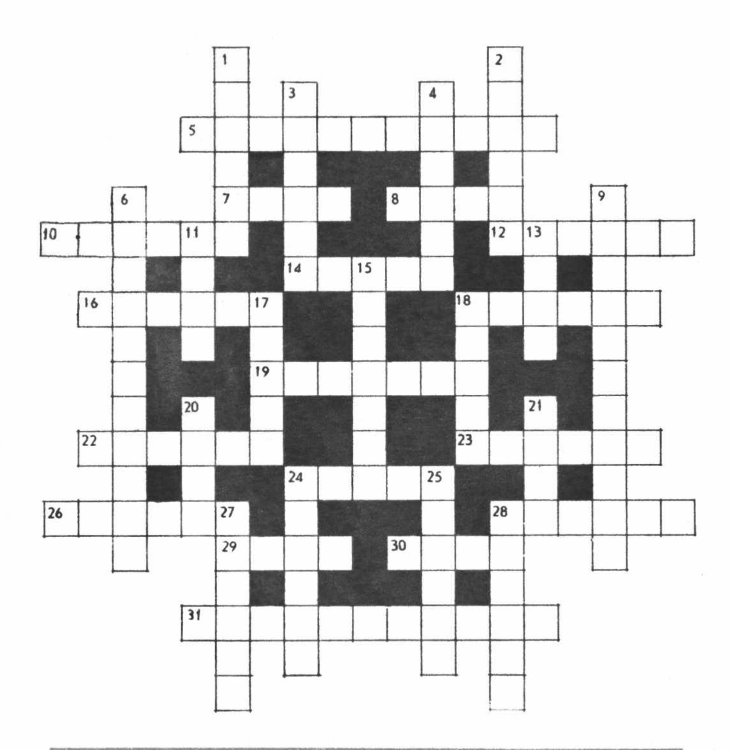
Сергей МИХАЛКОВ

Научный институт решил составить сводку
И взять на статистический учет
Своих сотрудников, что потребляют водку,
Вино, коньяк, и тех, кто пиво пьет.
И оказалось в результате,
Что в институте больше пьющих лиц,
Чем всех зарегистрированных в штате
Реальных человеко-единиц.
По видам алкоголя, несомненно,
Мог быть отчет составлен только так,
Поскольку пил иной одновременно
Вино и пиво, водку и коньяк...

—

Кто хоть и пьет, да дело разумеет,
Мораль из басни вывести сумеет.





КРОССВОРД

По горизонтали:

5. Русский писатель XIX века. 7. Ветер на берегах морей и озер. 8. Песчаный холм. 10. Типографский набор вокруг рисунка, таблицы. 12. Старинная мера длины. 14. Сеть для ловли зверей или рыб. 16. Часть суши. 18. Немецкий поэт и драматург. 19. Часть радиоустановки. 22. Хлебный злак. 23. Рыба семейства карповых. 24. Пьеса А. Е. Корнейчука. 26. Многолетний режим погоды. 28. Древнее оружие. 29. Река в Италии. 30. Система условных знаков. 31. Композитор, автор балета «Жар-птица».

По вертикали:

1. Свинцовая печать. 2. Сооружение в порту. 3. Озеро в Красноярском крае. 4. Пустынное плато между Аральским и Каспийским морями. 6. Дословный прозаический перевод стихотворения. 9. Запись танца условными обозначениями. 11. Площадка для игры в теннис. 13. Город на Скандинавском полуострове. 15. Автор картины «Грюнвальдская битва». 17. Легкая прозрачная ткань. 18. Пожарный рукав. 20. Основной мотив музыкального произведения. 21. Переносное жилище. 24. Струя воды, бьющая под напором. 25. Порт на берегу Адриатического моря. 27. Комедия Мольера. 28. Горнопромышленное предприятие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 2

По горизонтали:

3. Булахов. 8. Титовка. 9. «Испанцы». 10. Зима. 11. Патронташ. 12. Дени. 13. Афиша. 18. Шайба. 21. Рифма. 22. «Метелица». 23. Рукавица. 24. Рулон. 26. Парик. 28. Франс. 33. Трюк. 34. Буффонада. 35. «Елка». 36. Петарда. 37. Чичиков. 38. Качалка.

По вертикали:

1. Лисица. 2. Родари. 3. Базар. 4. Автограф. 5. Вираж. 6. Гайдай. 7. Сценка. 14. Фактура. 15. «Шпильки». 16. Аэрарий. 17. Ударник. 19. Атбасар. 20. Баритон. 25. Ласточка. 26. Парсек. 27. Рюкзак. 29. Алехин. 30. Сектор. 31. Русак. 32. Адыча.

На первой странице обложки: Будем дружить.
Фото Г. МАКАРОВА.

На последней странице обложки: Огни Норильска.
Фото Г. КОПОСОВА.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.
Редакционная коллегия: М. Н. АЛЕКСЕЕВ (заместитель главного редактора), Г. А. БОРОВИК, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Л. Л. СТЕПАНОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14.
Рукописи не возвращаются. Оформление А. КОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 01902. Подписано к печати 13/I 1965 г.
Формат бум. 70×108$^{1}/_{8}$. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л.
Тираж 1 934 000. Изд. № 4. Заказ № 3602.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ЛИСТКИ ТЕАТРАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ



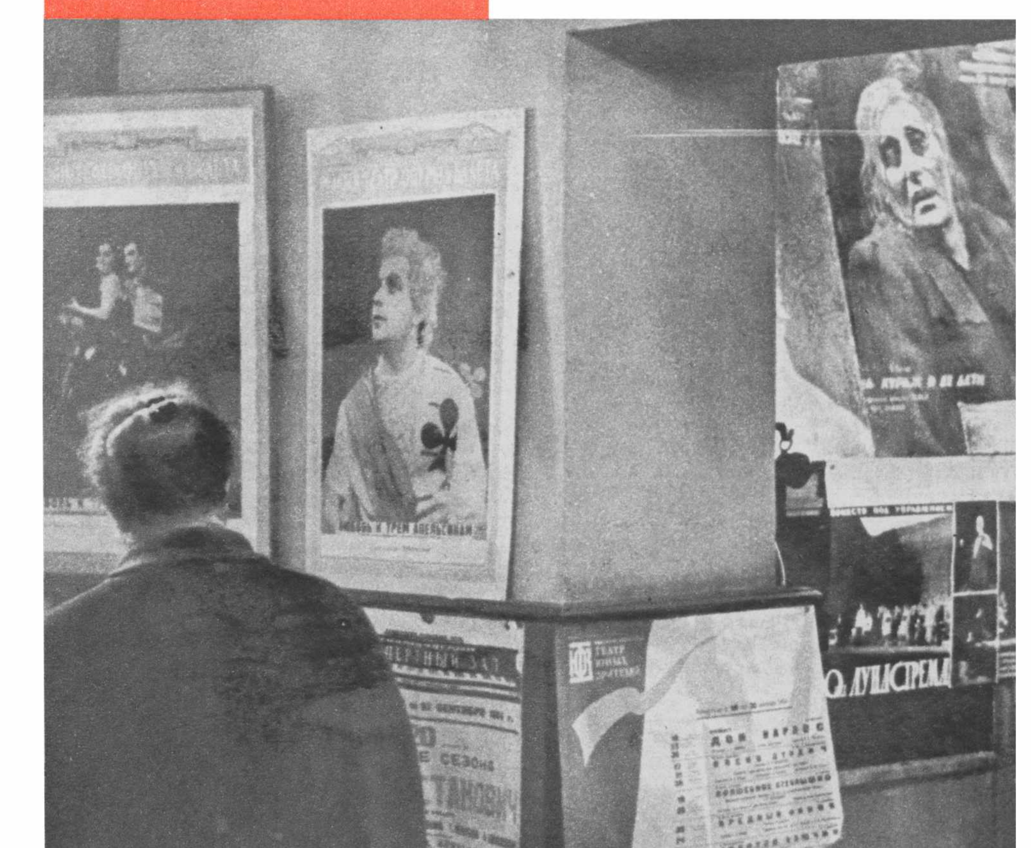
Эмблема театрального Ленинграда — белоколонный подъезд Академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото Е. УМНОВА.

Они появляются по утрам на улицах, площадях — яркие, красочные афиши, приглашающие в театральные залы города. Без них, как и без огней у театральных подъездов, нельзя и представить город на Неве.

На этот раз первые ленинградские афиши сезона появились в Нью-Йорке, за тысячу километров от родной страны. Кировцы, мастера балета, показывали свое блистательное искусство в городах Америки и Канады. Нынешний сезон этого театра богат премьерами. Уже показали оперу Вано Мурадели «Октябрь», впереди балеты: «Страна чудес» И. Шварца, «Жемчужина» Н. Симоняна, «Чешская легенда» М. Матвеева, «Гамлет» Н. Червинского. С успехом идут спектакли «Легенда о любви», «Спартак», «Тропою грома», «Каменный цветок».

Сорваны первые листки большого театрального календаря на 1965 год. Ленинградцы подружились с Давыдовым, Нагульновым, Журбиными...





Первую улыбку у входа в Театр комедии рождают афиши. Перед ними всегда толпится народ. «Спектакль начинается с афиши»,— так и говорит главный режиссер театра народный артист СССР Николай Павлович Акимов.



В большом театре на Пионерской площади не бывает свободных мест. Школьники любят свой ТЮЗ — просторное, уютное здание, заново отстроенное в центре города; любят актеров, с которыми встречаются и на сцене и после спектакля в фойе.

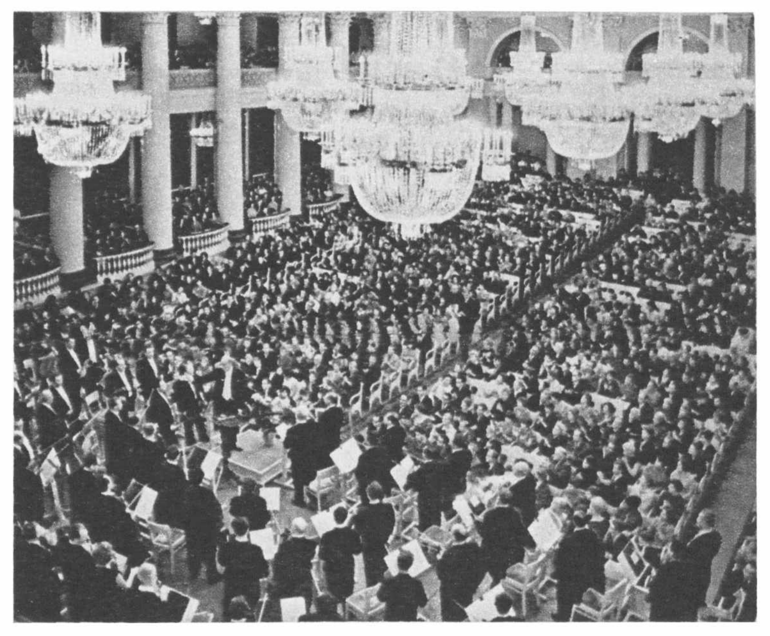


Их ждет знакомство с героями романа К. Симонова «Солдатами не рождаются», над инсценировкой которого работает художественный руководитель Академического Большого драматического театра имени Горького народный артист СССР Г. Товстоногов. Их ждет встреча с героями М. Шолохова в спектакле «Они сражались за Родину», включенном в репертуар Академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Разнообразен музыкально-филармонический сезон. Недавно впервые исполнялись струнные квартеты 9 и 10 Дмитрия Шостаковича. Цикл симфонических концертов посвящен зарубежной музыке; в программе также произведения ленинградцев и композиторов братских республик. По-прежнему седьмой абонемент Ленинградской филармонии принадлежит кировцам. 1 300 рабочих и инженеров прославленного завода вот уже девятый год подряд знакомятся с классической и современной симфонической музыкой.

Каждый вечер в театральных залах города собирается свыше 37 тысяч ленинградцев.

К. ЧЕРЕВКОВ



На концерте в Филармонии.

А это, пожалуй, самый популярный дом на Невском проспекте — центральная театральная касса. Кроме завзятых театралов, здесь много молодежи — студентов, ставших ленинградцами.





Цена номера 30 коп.
Индекс 70663